



КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

КОРОВИН

МОЯ ЖИЗНЬ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Константин Коровин

Моя жизнь

«Издательство АСТ»

1939

УДК 75.071:929(470)
ББК 85.143(2)6-8

Коровин К. А.

Моя жизнь / К. А. Коровин — «Издательство АСТ»,
1939 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-389-07411-8

Свои мемуары «Моя жизнь» Коровин начал писать еще в России, а завершил уже во Франции. В этой книге, написанной просто, естественно, свежо и безыскусно, перед читателем буквально оживают и удивительный мир искусства России времен легендарного Серебряного века (о котором близкий к символистам Коровин знал решительно все), и самые яркие личности этого времени, с которыми автора сводила судьба: Чехов и Врубель, Левитан и Репин, близкий друг автора Серов и многие другие. Помимо мемуаров, в сборник вошли также рассказы и очерки Коровина, созданные в эмиграции и завораживающие читателя светлой, печальной и мечтательной грустью по «утраченному времени» невозвратного прошлого.

УДК 75.071:929(470)

ББК 85.143(2)6-8

ISBN 978-5-389-07411-8

© Коровин К. А., 1939

© Издательство АСТ, 1939

Содержание

Моя жизнь	6
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Константин Алексеевич Коровин

Моя жизнь

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Моя жизнь

I¹

Я родился в Москве в 1861 году, 23 ноября, на Рогожской улице, в доме деда моего Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Прадед мой, Емельян Васильевич, был родом из Владимирской губернии, Покровского уезда, села Данилова, которое стояло на Владимирском тракте. Тогда не было еще железных дорог, и эти крестьяне были ямщиками. Говорилось – «гоняли ямщину», и не были они крепостными.

Когда родился прадед мой, то, по обычаю сел и деревень, находящихся по Владимирскому тракту, при рождении ребенка отец выходил на дорогу и первого, которого гнали в ссылку по этой дороге, Владимирке, спрашивал имя. Это имя и давали родившемуся ребенку. Будто это делали для счастья – такая была примета. Нарекали родившегося именем преступника, то есть несчастного. Так полагалось обычаем.

Когда родился мой прадед, по Владимирке везли в клетке с большим конвоем «Емельку Пугачева», и прадеда наименовали Емельяном. Сын ямщика, Емельян Васильевич был впоследствии управляющим в имении графа Бестужева-Рюмина, казненного Николаем I декабриста. Графиня Рюмина, лишённая прав дворянства, после казни мужа родила сына и умерла родами, а сын Михаил был усыновлен управляющим графа Рюмина, Емельяном Васильевичем. Но у него был и другой сын, тоже Михаил, который и был мой дед. Говорили, что огромное богатство моего деда пришло ему от графа Рюмина.

Дед мой, Михаил Емельянович, был огромного роста, очень красивый, и ростом он был без малого сажень. И жил дед до 93 лет.

Я помню прекрасный дом деда на Рогожской улице. Огромный особняк с большим двором; сзади дома был огромный сад, который выходил на другую улицу, в Дурновский переулок. И соседние небольшие деревянные дома стояли на просторных дворах, жильцами в домах были ямщики. А на дворах стояли конюшни и экипажи разных фасонов, дормезы, коляски, в которых возили пассажиров из Москвы по арендованным у правительства дедом дорогам, по которым он гонял ямщину из Москвы в Ярославль и в Нижний Новгород.

Помню большой колонный зал в стиле ампира, где наверху были балконы и круглые ниши, в которых помещались музыканты, играющие на званых обедах. Помню я эти обеды с сановниками, нарядных женщин в кринолинах, военных в орденах. Помню высокого деда, одетого в длинный сюртук, с медалями на шее. Он был уже седым стариком. Дед мой любил музыку, и, бывало, сидит один дед в большом зале, а наверху играет квартет, и дед позволял только мне сидеть около себя. И когда играла музыка, дед был задумчив и, слушая музыку, плакал, вытирая слезы большим платком, который вынимал из кармана халата. Я тихо сидел около деда и думал: «Дед плачет, так, значит, надо».

Отец мой, Алексей Михайлович, тоже был высокого роста, очень красивый, всегда хорошо одетый. И я помню, панталоны на нем были в клетку, и черный галстук высоко закрывал шею.

Я ездил с ним в экипаже, похожем на гитару: мой отец садился верхом на эту гитару, а я сидел впереди. Меня держал отец, когда ехали. Лошадь у нас была белая, звали Сметанкой, и я ее кормил с ладони сахаром.

¹ В издании сохранены орфография и пунктуация автора.

Помню вечер летом, когда на дворе поблизости ямщики пели песни. Мне нравилось, когда пели ямщики, и я сидел с братом Сергеем и своей матерью на крыльце, с няней Таней и слушал их песни, то унылые, то лихие, с посвистом. Они пели про любушку, про разбойников.

Девушки-девицы раз мне говорили,
Нет ли небылицы из старинной были...

Возле бора сосенок береза стоит,
А под той березою молодец лежит...

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
Про отчий край, про край родной...

Не одна во поле дороженька пролегала широка...

Хорошо помню, когда наступал поздний вечер и небо охватывала мгла ночи, над садом показывалась большая красная комета, размером в половину луны. У нее был длинный хвост, пригнутый вниз, который лучился светящимися искрами. Она была красная и будто дышала. Комета была страшная. Говорили, что она к войне. Я любил смотреть на нее и каждый вечер ждал, ходил смотреть на двор с крыльца. И любил слушать, что говорят про эту комету. И мне хотелось узнать, что это такое, и откуда пришла она пугать всех, и зачем это.

В большие окна дома я видел, как иногда ехала, запряженная четверкой лошадей, по улице Рогожской страшная повозка, высокая, с деревянными колесами. Эшафот. И наверху сидели двое людей в серых арестантских халатах, со связанными назад руками. Это везли арестантов. На груди каждого висела большая, привязанная за шею черная доска, на которой было написано белым: **Вор – убийца**. Отец мой высылал с дворником или кучером передать несчастным баранки или калачи. Это, вероятно, так было принято из милосердия к страждущим. Конвойные солдаты клали эти дары в мешок.

В беседке сада летом пили чай. Приходили гости. У отца часто бывали его друзья: доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков и еще молодой человек Латышев, художник Лев Львович Каменев и художник Илларион Михайлович Прянишников, совсем юноша, которого я очень любил, так как он устраивал мне в зале, опрокидывая стол и покрывая его скатертями, корабль «Фрегат “Палладу”». И я залезал туда и ехал в воображении по морю, к мысу Доброй Надежды. Это мне очень нравилось.

Также я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке, кистью рисовала в альбом такие хорошенькие картинки – зиму, море, – такие, что я улетал куда-то в райские края. Отец мой тоже рисовал карандашом. Очень хорошо, говорили все – и Каменев, и Прянишников. Но мне больше нравилось, как рисовала мать.

Дед мой Михаил Емельянович хворал. Сидел у окна летом, и ноги его были покрыты меховым одеялом. Я и мой брат Сергей сидели тоже с ним. Он нас очень любил и меня расчесывал гребешком. Когда по улице Рогожской шел разносчик, то дед звал его рукой, и разносчик приходил. Он покупал все: пряники, орехи, апельсины, яблоки, свежую рыбу. А у офеней, которые носили большие белые коробки с игрушками и выкладывали их перед нами, ставя на пол, дед также покупал все. Это было радостью для нас. Чего только не было у офени! И зайцы с барабаном, и кузнецы, медведи, лошади, коровы, которые мычали, и куклы, закрывающие глаза, мельник и мельница. Были игрушки и с музыкой. Мы их потом ломали с братом – так хотелось узнать, что внутри их.

Моя сестра Соня заболела коклюшем, и мать увезла меня к няне Тане. Вот где было хорошо... У ней было совсем по-другому. Небольшой деревянный дом. Я лежал больной в постели. Бревенчатые стены и потолок, иконы, лампадки. Таня около меня и ее сестра. Замечательные, добрые... В окно виден сад зимой в инее. Топится лежанка. Все как-то просто, как надо. Приходит доктор Плосковицкий. Я был рад всегда его видеть. Он прописывает мне лекарства: пилюли в таких хорошеньких коробочках, с картинками. Такие картинки, что так никто не нарисует, думал я. Часто приезжала и мать. В шляпе и кринолине, нарядная. Привозила мне виноград, апельсины. Но запрещала мне давать есть много и сама привозила только суп-желе, зернистую икру. Доктор не велел меня кормить, так как у меня был сильный жар.

Но когда мать уезжала, то моя няня Таня говорила:

– Так касатика (это я – касатик) уморят.

И мне давали есть жареного поросенка, гуся, огурцы, и еще из аптеки приносили длинную конфету, называлась «девья кожа», от кашля. И все это я ел. И «девью кожу» от кашля без счета. Только Таня мне не велела говорить матери, что меня поросенком кормят, и про «девью кожу» ни гугу чтоб. И я ни за что не говорил. Я верил Тане и боялся, как говорила ее сестра Маша, что, не евши, меня уморят совсем. Это мне не нравилось.

А на коробочках – картинки... Такие там горы, елки, беседки. Мне сказала Таня, что недалеко за Москвой такие растут. И я подумал: как только выздоровлю, уйду туда жить. Там мыс Доброй Надежды. Сколько раз я просил отца поехать. Нет, не везет. Уйду сам – погодите. И Таня говорит, что мыс Доброй Надежды недалеко, за Покровским монастырем.

Но вдруг приехала мать, прямо не в себе. Плачет навзрыд. Оказалось, что сестра Соня умерла.

– Это что же такое: как умерла, зачем?..

И я ревел. Я не понимал, как же это так. Что такое это: умерла. Такая хорошенькая, маленькая Соня умерла. Это не надо. И я задумался и загрустил. Но когда мне Таня сказала, что у ней теперь крылышки, и она летает с ангелами, мне стало легче.

Когда настало лето, я как-то сговорился со своей двоюродной сестрой, Варей Вяземской, пойти на мыс Доброй Надежды, и мы вышли через калитку и пошли по улице. Идем, видим – большая белая стена, деревья, а за стеной внизу река. Потом опять улица. Магазин, в нем фрукты. Вошли и спросили конфеты. Нам дали, спросили, чьи мы. Мы сказали и пошли дальше. Какой-то рынок. Там утки, куры, поросята, рыба, лавочники. Вдруг какая-то женщина толстая смотрит на нас и говорит:

– Вы чего же это одни?..

Я ей насчет мыса Доброй Надежды, а она взяла нас за руки и сказала:

– Пойдемте.

И привела нас в какой-то грязный двор. Повела на крыльцо. В доме у нее так нехорошо, грязно. Она посадила нас за стол и поставила перед нами коробку большую картонную, где были нитки и бисер. Бисер очень понравился. Она привела других женщин, все смотрели на нас. Дала нам к чаю хлеба. В окнах уже было темно. Тогда она нас одела в теплые вязаные платки, меня и сестру Варю, вывела на улицу, позвала извозчика, посадила нас и поехала с нами. Приехали мы к большому дому, грязному, страшному, башня-каланча, и наверху ходит человек – солдат. Очень страшно. Сестра редела. Вошли по каменной лестнице в этот дом. Там какие-то страшные люди. Солдаты с ружьями, с саблями, кричат, ругаются. За столом сидит какой-то человек. Увидев нас, вышел из-за стола и сказал:

– Вот они.

Я испугался. И человек с саблей – чудной, будто баба, – повел нас наружу, и женщина тоже пошла. Посадили на извозчиков и поехали.

– Ишь пострелы, ушли... неслухи, – слышал я, как говорил человек с саблей женщине.

Привезли нас домой. Отец и мать, много в доме народу, доктор Плосковицкий, Прянишников, много незнакомых. Тут и тетки мои, Занегины, Остаповы, – все нам рады.

– Куда делись, где были?..

Человек с саблей пил из стакана. Женщина, которая нас нашла, что-то много говорила. Когда человек с саблей уходил, то я просил отца оставить его и просил, чтобы он дал мне саблю, ну хотя бы вынуть, посмотреть. Эх, хотелось мне такую саблю иметь! Но он мне ее не дал и смеялся. Я слышал, что кругом много говорили в волнении и все про нас.

– Ну что, видел, Костя, мыс Доброй Надежды? – спросил меня отец.

– Видел. Только это за рекой, там. Я туда не дошел еще, – сказал я.

Помню, все смеялись.

Как-то зимой дед захватил меня с собой. Проехали мы мимо Кремля, через мост реки, и подъехали к большим воротам. Там стояли высокие здания. Мы слезли с саней, прошли во двор. Там были каменные амбары с большими железными дверьми. Дед взял меня за руку, и мы спустились по каменным ступеням в подвал. Вошли в железную дверь, и я увидел каменный зал со сводами. Висели лампы, и в стороне стояли в шубах татары в ермолках. В руках у них были саквояжи в узорах из ковровой материи. Еще какие-то люди, знакомые деда моего: Кокорев, Чижов, Мамонтов. Они были в шапках и теплых хороших шубах с меховыми воротниками. Дед здоровался с ними. Они посмотрели и на меня и сказали: «Внук».

Посредине подвала стоял большой сундук, желтый, железный, окованный, в пуговицах. Сундук блестящий и узорный. Один из них вставил ключ в замок и открыл крышку. Когда подняли крышку, сундук издал звуки, как музыка. Из него Кокорев вынимал толстые пачки бумажных денег, перевязанные бечевкой, и бросал эти пачки в мешки подходящих татар. Когда наполнялся мешок одного татарина, подходил другой и также клали ему. А Мамонтов писал на стене мелом, говоря: «Миллион четыреста тыщ. Два миллиона сто сорок тыщ. Шестьсот тыщ. Миллион триста тыщ». Татары уходили с мешками наружу, а потом все заперли – и сундук, и двери, и мы ушли. Дед сел в сани с Мамонтовым и посадил меня на колени. Мамонтов сказал дорогой деду, указав на меня:

– Парнишка Алексея. Любишь ты его, Михаил Емельянович...

Дед смеялся и сказал:

– Да как их не любить... А кто, что потом будет – невесть. Жизнь идет, все меняет. Он ничего парнишка. Музыку любит... Слушает, не скучает. Ты спроси его, где мыс Доброй Надежды. Он из дому раз ушел искать его, мыс-то. Что было с матерью, с отцом. Вся полиция искала в Москве. Нашли... Мальчишка любознательный.

Это говорили про меня.

Приехали к большому белому дому. Вошли по лестнице в большой зал. Всё столы. За столами сидят люди, многие в белых рубашках. Подают кушанья. И мы сели за стол. Подали блины и в бурачках икру. Мне положили блин и икру из бурачка ложкой. А я смотрю – один в белой рубашке несет большой вал. Вставил его в такую странную штуку, вроде комода в стеклах, и повертел сбоку ручку. Эта штука заиграла. А за стеклами что-то вертелось. Очень интересно. И я пошел смотреть.

Потом дед, милый добрый дед, взял и умер. Мне сказала утром Таня. Я удивился и думал: зачем это? И увидел в зале большой гроб-колоду, там дед, бледный, глаза закрыты. Кругом свечи, чад, дым. И все поют. Много, много в золотых кафтанах. Так нехорошо, что это такое? Так нехорошо... Так жалко деда... И всю ночь не спали. А потом его вынесли на двор и все пели. Народу, народу... ужас сколько. И плакали все, и я... Деда повезли по улице. Я ехал с отцом и матерью за дедом. Увезли... Приехали в церковь, опять пели и потом опустили деда в яму, закопали. Это невозможно... И я не мог понять, что же это такое. Нет деда. Вот горько. Все я плакал, и отец плакал, и брат Сергей, и мать, и тетки, и няня Таня. Я спрашивал у приказчика Ечкина, увидав его в саду, зачем дед умер. А он говорит:

– Бог взял.

Думаю: вот так штука... Сестру Соню тоже взял. Зачем ему надо?.. И я очень задумался над этим. И когда пошел из сада, то с крыльца увидел на небе огромное светлое сияние – крест. Я закричал. Ко мне вышла мать. Я говорю:

– Смотри...

Крест таял.

– Видишь крест...

Мать увела меня домой. Это единственное видение, что помню в жизни своей. Такого больше никогда не было.

II

Мальчиком шести лет я не знал и не понимал, что значило, что мой отец был студент и кончил Московский университет. Это я потом узнал. Вероятно, мне рассказали. Но я помню, как к отцу моему приходили молодые люди и даже не совсем молодые, а старше отца – все это были товарищи его – студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца, среди них был и доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Прянишников. Там, я слышал, пели, и некоторые отрывки этих песен остались в моей памяти:

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты
Шатаются.

Студенты были особые люди. Одеты как-то особенно. С длинными волосами, некоторые в темных блузах, а кто в сюртуках, все с большими волосами, толстыми палками в руках, с шеями, перекрученными темными галстуками. Они не были похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался.

На стене беседки было написано мелом:

Двуголовье – эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.

Или пели они. Все какие-то особые песни, совсем другие, чем песни ямщиков.

Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин-урод.

Но Царю Вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.

Манифест читая,
Сжалился Творец.
Дал нам Николая...

Или:

Когда он в вечность преселился,
Наш незабвенный Николай, —
К Петру-апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в рай.
«Ты кто?» – спросил его ключарь.
«Как кто? Известный русский царь!»
«Ты царь, так подожди немного,
Ты знаешь, в рай трудна дорога,
К тому же райские врата
Узеньки, видишь – теснота».
«Да что же это все за сброд?
Цари или простой народ?»
«Ты не узнал своих! Ведь это россияне,
Твои бездушные дворяне,
А это вольные крестьяне,
Они все по миру пошли,
А нищие к нам в рай пришли».
Тогда подумал Николай:
«Так вот как достигают в рай!»
И пишет к сыну: «Милый Саша!
Плоха на небе доля наша.
Коль подданных своих ты любишь —
Богатством только их погубишь,
А если хочешь в рай ввести —
Так всех их по миру пусти!»

Трудно преодолевались в моем понимании эти особенные настроения и мысли этих людей, студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и сама речь были иные и впечатляли меня странным беспокойством. Я видел, как управляющий моего отца, который каждое утро приходил к отцу в кабинет, что-то долго докладывал, считал на счетах, приносил и уносил какие-то бумаги, – этот Ечкин сердито смотрел на знакомых отца, студентов. Студенты, сверстники отца, приносили отцу книги, вместе читали. Отец тоже имел много книг и много читал. Студенты спорили по вечерам, когда я уже уходил спать. Я слышал, что они часто говорили про крепостное право, слышал слова «конституция», «свобода», «тирания»...

Однажды к отцу пришел человек высокого роста, брюнет, с пробором посреди. Это был профессор университета, которому отец показывал небольшой портрет тоже какого-то брюнета. Профессор смотрел его. Портрет этот находился у деда моего, Михаила Емельяновича, в его спальне, и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина, что это за портрет и кто этот дядя. Ечкин мне ответил, что это граф разжалованный.

– Он в родстве вашем будет. А что вот студенты – бог с ними... Только деньги с отца твоего тянут. Срамota, – сказал Ечкин.

Я никогда не видел с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих теток, ни Волковых, ни Остаповых. И бабушка моя со стороны матери редко бывала у нас, и Алексеевы никогда не говорили и не были при этих студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги

и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одеты они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищенные, волосы не стрижены.

– Это все студенты, – говорила мне, вздыхая, няня Таня.

У отца была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, где были картинки. О прочитанной книге он много говорил со своими знакомыми и много спорил.

Однажды отец с волнением рассказывал матери про Латышева, который перестал бывать у нас. Он мне нравился. Он такой был тихий, мягкий человек. Но я слышал из разговора, что его арестовали и сослали в Сибирь. Отец ездил в арестный дом, и однажды он взял меня с собой. И мы приехали к какому-то огромному зданию. Большие коридоры. И стояли солдаты, одетые в черное, и держали сабли кверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, железные толстые прутья. И там за решеткой был Латышев. Отец передал ему сверток с едой – там был хлеб и ветчина – и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома. Особенно мне было неприятно, что через решетку много людей кричали и разговаривали с людьми, которые были за ней. Это сильно повлияло на меня, и я спрашивал мать, няню Таню, бабушку, но никто мне ничего не отвечал. Отец мне ответил раз, что Латышев не виноват и это все зря.

– Ты не понимаешь, – сказал он мне.

Я видел, что отец мой был расстроен, и помню, что он сказал матери, что Ечкину нельзя доверять.

– Меня все обманывают. Я не хочу судиться, мне это противно. У них нет чести.

Мать была тоже расстроена. Ездил к своей матери, Екатерине Ивановне, и брала меня и брата с собой. У бабушки Екатерины Ивановны в доме было так хорошо. Комнаты в коврах, цветы у окон в корзинах, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом, с цветами. Так все красиво. Картины... Чашки внутри золотые. Вкусное варенье из китайских яблочек. Такой сад за зеленой загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зеленый со ставнями. Бабушка высокая, в кружевной накидке, в черном шелковом платье. Помню, как мои тети, Сушкины и Остаповы, красивые, в пышных кринолинах, и моя мать играли на больших золотых арфах. Было много гостей. Все другие, какие-то непохожие на этих студентов и на доктора Плосковицкого. Все нарядные гости. И за столом кушанья подавали слуги в перчатках, и шляпы у женщин были большие с нарядными лентами. И они отъезжали от подъезда в каретах.

На дворе в нашем доме, за колодцем у сада, жила собака в собачнике – такой маленький домик, а в нем круглая лазейка. Там-то и жила большая лохматая собака. И привязана она была на цепи. Вот это-то мне и нравилось. А собака такая хорошая, звали ее Дружок. За каждым обедом я оставлял ей кости и выпрашивал куски чего-нибудь, а потом уносил и кормил Дружка. И спускал его с цепи. Пускал его в сад и беседку. Дружок любил меня и при встрече клал лапы мне на плечи, отчего я чуть не падал. Языком лизал меня прямо в лицо. Дружок также любил и брата моего Сережу. На крыльце сидел всегда с нами Дружок и голову клал мне на колени. Но только как кто шел в калитку – Дружок срывался опрометью, в злобе бросался на входящего и лаял так, что пугал невозможно всех.

Зимой Дружку было холодно. Я тихонько, никому не говоря, проводил его через кухню к себе, в комнату наверх. И он спал около моей постели. Но мне это запретили; как я ни просил отца, мать – ничего не выходило. Говорили: нельзя. Я говорил это Дружку. Но я все-таки ухитрился брать Дружка к себе в комнату и прятал его под постель.

Дружок был сильно лохматый и большой. И мы с братом Сережей как-то летом решили его обстричь. И обстригли так, что сделали из него льва: до половины остригли. Дружок вышел лев настоящий, и его стали еще больше бояться. Приходящий утром булочник, который носил хлеб, жаловался, что ходить нельзя, зачем спускают Дружка: ведь чисто лев бросается. Я помню отец смеялся – он тоже любил собак и всяких животных.

Как-то он купил медвежонка и отправил его в Борисово – совсем недалеко от Москвы, поблизости Царицына, за Москвой-рекой. Там было небольшое имение моей бабушки, стоял дом-дача, где летом мы жили. Медвежонок Верка – почему так называлась? – скоро выросла с меня и была замечательно добрая. Играла со мной и братом в деревянный шар на лужку перед дачей. Кувыркалась, и мы с ней вместе. А ночью спала с нами и как-то особенно бурлыкала, каким-то особым звуком, который, казалось, доносился издалека. Она была очень ласковая, и кажется мне, что она думала про нас, что и мы медвежата. Целый день и вечером мы играли с нею около дачи. Играли в пряталки, катались кубарем с горки у леса. К осени Верка выросла выше меня, и как-то раз мы с братом и с ней ушли к Царицыну. А там она залезла на огромную сосну. Какие-то дачники, увидав медведя, заволновались. А Верка, сколько я ее ни звал, не шла с сосны. Пришли какие-то люди, начальники, с ружьем и хотели ее застрелить. Я разревелся, умолял не убивать Верку, в отчаянии звал ее, и она слезла с сосны. Я и брат увели ее домой, к себе, а начальники тоже пришли к нам и запретили держать медведя.

Помню, это было мое горе. Обнял я Верку и горячо плакал. А Верка бурлыкала и лизала мне лицо. Странно, что Верка никогда не сердилась. Но когда ее заколачивали в ящик, чтоб увезти на телеге в Москву, Верка ревела страшным зверем, и глаза у ней были маленькие, звериные и злые. Верку привезли в Москву в дом и поместили в большую оранжерею сада. Но тут Дружок совсем сошел с ума: лаял и выл не переставая. «Как бы этого Дружка помирить с Веркой», – думал я. Но когда Дружка мы с братом взяли и повели в сад в оранжерею, где была Верка, то Верка, увидав Дружка, отчаянно напугалась, бросилась кверху на длинную кирпичную печку оранжереи, повалила горшки с цветами и прыгнула на окно. Она была вне себя. Дружок, увидав Верку, отчаянно завыл и завизжал, бросившись к нам в ноги. «Вот так история, – подумал я. – Отчего же это они испугались друг друга?» И как мы ни старались с братом успокоить Верку и Дружка, ничего не выходило. Дружок бросался к двери, чтобы уйти от Верки. Видно было, что они друг другу не нравились. Верка была чуть не вдвое больше Дружка, но боялась собаки. И это продолжалось все время. Дружок был обеспокоен, что в саду в оранжерее живет медведь.

В один прекрасный день, утром, к отцу пришел полицейский надзиратель и сказал ему, что получил приказание арестовать медведя и отправить его на псарню по приказу губернатора. Это был для меня отчаянный день. Я пришел в оранжерею, обнимал, гладил Верку, целовал морду и горько плакал. Верка пристально смотрела звериными глазками. Что-то думала и была обеспокоена. А вечером пришли солдаты, связали ей ноги, морду и увезли.

Я ревел всю ночь и не пошел в сад. Мне было страшно смотреть на оранжерею, в которой не было уже Верки.

Когда я уехал с матерью к бабушке, то рассказал ей свое горе. Она, успокаивая меня, сказала: «Костя, люди злые, люди очень злые». И мне показалось – правда, что, должно быть, люди злы. Они водят других людей по улице, с саблями наголо. Те идут такие несчастные. И это я тоже сказал бабушке. Но она мне сказала, что и эти несчастные люди, которых водят конвойные, тоже очень злые люди и нехорошие. Я задумался над этим и думал, что же это значит и зачем это. Зачем же они злые. Это первое, что я слышал о злых людях, как-то омрачило и озаботило меня. Неужели там, где вся эта музыка, неужели там есть такие люди. Не может быть, чтобы там, за этим садом, где опускается солнце и делается такой прекрасный вечер, где клубятся розовые облака на прекрасном небе, там, где мыс Доброй Надежды, были злые люди. Ведь это же глупо и гадко. Так не может быть, там не может человек быть зол. Там нет этих людей, которые говорят «черт возьми», «ступай к черту», те, которые это говорят, – всегда около моего отца. Нет, их нет там, да их туда и не пустят. Там нельзя говорить «черт тебя возьми». Там музыка и розовые облака.

У бабушки мне очень нравилось. Там было совсем другое, другое настроение. Сама бабушка и гости были приветливы, когда говорили, смотрели в глаза друг другу, говорили

тихо, не было этих резких споров – у бабушки как-то соглашались. Так просто. А у нас в доме окружающие отца всегда как-то ни с чем не соглашались. Кричали: «не то», «ерунда», «яйца всмятку». Часто я слышал слово «черт»: «ну его к черту», «черт возьми совсем». У бабушки никто не чертыхался. Потом у бабушки эта музыка, когда играли на арфах; тихо слушали; гости были нарядные, большие кринолины, волосы у женщин пышные, пахло духами. Ходили они, не стуча высокими сапогами; уезжая, со мной все прощались. За обедом у бабушки не было квасу и не били рюмки с вином, не чавкали, не сидели, облокотясь на стол локтями. Потом было чисто как-то, прибрано. Не валялись книги, газеты. Музыка арф так красива, и мне казалось, что эта музыка похожа на синее небо, на облака вечерние, которые ходили над садом, на ветви деревьев, которые спускались к забору, где к вечеру розовела заря, и там за этим садом, там далеко, где-то есть мыс Доброй Надежды. Я чувствовал у бабушки, что есть мыс Доброй Надежды. У нас не было этого чувства. Что-то было грубое, и мне казалось, что все кого-то бранили, что-то не так, кто-то виноват... Не было этого отрадного, далекого, прекрасного, которое там, которое придет, желанное, доброе. И когда я возвращался домой, мне было грустно. Придут студенты, будут кричать: «Какой Бог, где он, Бог?» И какой-то студент скажет: «Я не верю в Бога...» И глаза у него мутные, злые, тупые. И он груб. И я будто чужой. Я ничего. Никто не подойдет, не скажет мне: «Здравствуй». А у бабушки мне скажут, спросят: «Что ты учишь?» Покажут книжку с картинками. Когда рисовала мать, то я чувствовал себя около матери, как и у бабушки. И в картинках, которые рисовала мать, мне все казалось, что она рисует все это там, где мыс Доброй Надежды. Когда я остаюсь ночевать у бабушки, то бабушка велит мне в постели на коленях читать молитвы и молиться Богу, и после я уже ложусь спать. А дома мне ничего не говорят. Скажут: «Иди ложись спать» – и только.

Тетки мои, которые бывают у нас в доме деда в Рогожской, тоже другие – толстые, с черными глазами. А дочери их, молодые, худые, бледные, робкие, сказать боятся, конфузятся. «Какие разные люди, – думал я. – Отчего это?»

Пришла тетка Алексеева и сидела в зале на кресле и горько плакала, вытирая слезы кружевным платочком. Говорила в слезах, что Аннушка залила настурции – поливает и поливает. Я подумал: «Какая чудная тетка. О чем плачет».

Другая моя тетка, помню, сказала про мою мать: «Белоручка. Она не знает до сих пор, куда в самовар воду наливают и куда угли кладут». А я и спросил мать – куда угли кладут в самовар. Мать посмотрела на меня с удивлением и сказала: «Пойдем, Костя». Повела меня в коридор и показала в окно сад.

Зима. Сад был весь в инее мороза. Я смотрел: действительно, это было так хорошо – все белое, пушистое. Что-то родное, свежее и чистое. Зима.

А потом мать рисовала эту зиму. Но не выходило. Там были узоры ветвей, покрытые снегом. Это очень трудно.

– Да, – согласилась мать со мной, – эти узоры трудно сделать.

Тогда я тоже начал рисовать, и ничего не выходило.

III

После смерти деда в доме на Рогожской улице все постепенно изменилось. Мало осталось ямщиков. Уже не было слышно вечером их песен, и конюшни опустели. Стояли покрытые пылью огромные дормезы; унылы и пусты были дворы ямщиков. Приказчика Ечкина не было видно в нашем доме. Отец мой был озабочен. Много приходило людей в дом. Помню, как отец платил им много денег и какие-то белые бумажки длинные, векселя, он складывал вечером вместе, перевязывал бечевкой и клал их в сундук, запирая. Как-то уезжал он. В парадном ходе крыльцо моя мать провожала его. Задумчиво смотрел отец на окно, покрытое инеем мороза.

Отец в руках держал ключ и, задумавшись, прикладывал ключ к стеклу. Там образовалась форма ключа. Он переставил его в новое место и сказал матери:

– Я разорен... Дом этот продадут.

* * *

Уже прошла Николаевская железная дорога и окончена была до Троице-Сергия, а также построена была дорога и до Нижнего Новгорода. Так что ямщина была закончена. По этим дорогам уже редко кто ездил на лошадях: ямщина была не нужна... Значит, отец сказал: «Я разорен», потому что дело кончилось. Троицкую железную дорогу провели Мамонтов и Чижов, друзья моего деда. Вскоре я с матерью переехал к бабушке, Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки, а потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу, в особняк фабриканта Збука. Кажется, – хорошо не помню, – отец мой был мировой судья. Большой двор был у дома Збука и большой сад с заборами, а дальше шли полянки. Еще не отстроена была хорошо Москва, Сущево. Вдали были видны фабричные трубы, и помню я, как на праздниках на эти полянки выходили рабочие, сначала молодые, потом постарше, друг перед другом кричали: «выходи», «отдай наше» – и дрались друг с другом. Это называлось «стенка». До самого вечера слышался крик: то были игры-драки. Я много раз видел эти драки.

Мебель в особняк Збука была перевезена из нашего рогожского дома, который уже был продан. Но и эта жизнь в Москве была недолгой.

Летом с отцом, матерью я довольно часто ездил под Москву, в Петровский парк, на дачу к тетке Алексеевой. Это была толстая женщина, с красным лицом и темными глазами. Дача была нарядная, выкрашенная желтой краской, загородка тоже. Дача была в резных финтифлюшках; перед террасой была куртина цветов, а посередине железный крашеный журавль: подняв нос кверху, пускал фонтан. И какие-то на столбах два ярких, ярких серебряных шара, в которых отражался сад. Дорожки, покрытые желтым песком, с бордюром – все это было похоже на бисквитный пирог. Хорошо было на даче у тетки, нарядно, но мне почему-то не нравилось. Когда надо было сворачивать с Петровского шоссе в аллею парка, то шоссе казалось далекой синей далью, и мне хотелось ехать не на дачу к тетке, а туда, в эту дальнюю синюю даль. И я думал: там, должно быть, мыс Доброй Надежды...

А у тетки на даче все раскрашено, даже пожарная бочка тоже желтая. Мне хотелось совсем другое видеть: там где-то есть леса, таинственные долины... И там, в лесу, стоит избушка – я бы ушел туда и стал бы один жить в избушке этой. Туда бы взял с собой собаку Дружка, жил бы с ним; там маленькое окошко, дремучий лес – я поймал бы оленя, его бы доил, еще корову дикую... Только вот одно: наверно, она бодается. Я бы ей отпилил рога, жили бы вместе. У отца есть удочка – я взял бы с собой, на крючок насадил бы мяса и бросил бы ночью из окна. Там ведь волки, пришел бы волк: цап мясо – попался. Я б его к окну-то и притащил, и сказал бы: «Что, попался? Теперь не уйдешь... Нечего зубы скалить, сдавайся, живи со мной». Он ведь не дурак: понял бы – жили бы вместе. А что у тетки... Ну, мороженое, ну, дача – ведь это ерунда, куда ни пойдешь – загородка, дорожки желтые, чушь. А мне бы в дремучий лес, в избушку... Вот что хотелось мне.

Возвращаясь от тетки, я говорил отцу:

– Как бы мне хотелось уйти в дремучий лес. Только ружье у меня, конечно, ненастоящее, горохом стреляет, ерунда. Купи мне, пожалуйста, настоящее ружье, я буду охотничать.

Отец слушал меня, и вот однажды утром я вижу на столике около меня лежит настоящее ружье. Небольшая одностволка. Курок новый. Я схватил – как оно пахнет, какие замки, стволы какие-то в полосках. Я бросился отцу на шею благодарить, а он говорит:

– Костя, это – настоящее ружье. И вот коробочка пистонов. Только пороху не дам тебе – еще рано. Смотри-ка, ствол-то – дамасский.

Целый день я ходил по двору с ружьем. На дворе растёт бузина у забора, забор старый, в щелях. А по ту сторону живёт приятель – мальчик Левушка. Я ему показывал ружье, он ничего не понял. У него тачка, он возит песок, большое тяжелое колесо – словом, ерунда. Нет, ружье – это совсем другое.

Я уже видел, как я застрелил, бегая с Дружком, и уток, и гусей, и павлина, и волка... Эх, как бы уехать в дремучий лес. А здесь – этот пыльный двор, погреб, желтые конюшни, купола церкви – что делать?

Я сплю с ружьем и двадцать раз в день его чищу. Отец поставил на стол свечу и зажег, посадил пистон, курок поднял, стрельнул в свечу на пять шагов – свеча потухла. Я расстрелял три коробки пистонов, тушил свечку без промаха – все не то. Надо же порох и пулю.

– Погоди, – сказал отец, – скоро мы поедем в деревню Мытищи, там будем жить. Вот там я тебе дам пороху и дробь, ты будешь стрелять дичь.

Долго ждал я этого счастья. Прошло лето, зима, и вот в один прекрасный день, когда только распустились березки, отец поехал со мной по железной дороге. Какая красота. Что видно в окно – леса, поля, – все в весне. И приехали в Большие Мытищи. С краю был дом – изба большая. Нам ее показала какая-то женщина и с ней мальчик Игнатка. До чего хорошо в избе: две деревянные комнаты, потом печка, двор, на дворе стоят две коровы и лошадь, маленькая собачка, замечательная, – все время лает. А как вышел на крыльцо, видишь большой синий лес. Блестят на солнце луга. Лес – Лосиный Остров, огромный. То есть так хорошо, как я никогда не видел. Вся Москва никуда не годится, такая красота...

Через неделю мы переехали туда. Отец где-то получил службу на фабрике недалеко. Но что это такое за Мытищи? Там есть речка – Яуза, и идет она из большого леса до Лосиного Острова.

Я сейчас же подружился с мальчиками. Дружок ходил со мной. Сначала я побаивался ходить далеко, а за речкой был виден лес и синяя даль. Вот туда-то я и пойду... И пошел. Со мной Игнашка, Сенька и Сережка – замечательные люди, сразу приятели. Пошли на охоту. Отец мне показал, как заряжается ружье: очень мало пороху клал, я вешал какую-то газету, делал круг и стрелял, и дробь попадала в круг. То есть это не жизнь, а рай. Берег речки, трава, кусты ольхи. То она очень маленькая, мелкая, то переходит в широкие бочаги, темные, невероятной глубины. На поверхности плещется рыба. Дальше и дальше идем мы с приятелями, – Смотри, – говорит Игнашка, – вон, видишь, за кустами утки плавают. Это дикие.

Тихонько крадемся мы в кустах. Болото. И близко я подошел к уткам. Прицелился и выстрелил в тех, которые ближе. Взвились с криком утки, целая стая, а утка, в которую я стрелял, лежала на поверхности и била крыльями. Живо разделся Игнашка и бросился в воду, саженьками поплыл к утке. Дружок лаял на берегу. Игнашка схватил зубами за крыло и возвратился с уткой. Вылез на берег – большая утка. Голова синяя с розовым с отливом. Это было торжество. Я ходил от восторга на цыпочках. И пошли дальше. Место становилось более болотным, трудно было идти, качалась земля. Но в реке видно все дно, и я увидел у кустов, в глубине, шли большие рыбы и дышали ртом. Боже, какие рыбы. Вот их надо поймать. Но очень глубоко. Сбоку был огромный сосновый лес, в который мы пришли. Это – мыс Доброй Надежды. Мох зеленый. Игнашка и Серега собрали хворост и развели костер. Мокрые, мы грелись около костра. Утка лежала около. Что скажет отец! А за заворотом реки, через сосны, синела даль, и там большой был плес реки. Нет, не это мыс Доброй Надежды, а он там, где синяя даль. Поэтому я пойду непременно туда... там есть избушка, там буду жить. Ну что Москва, что дом наш рогожский с колоннами, что он стоит перед этими бочагами воды, перед этими цветами – лиловыми султанами, которые стоят у ольхи... И эти ольхи зеленые отражаются в воде, как в зеркале, и там синее небо, а наверху, вдали, синют далекие леса.

Надо возвращаться домой. Отец сказал мне: «Ступай на охоту», а мать чуть не плакала, говоря: «Разве можно это, он еще мальчик». Это я-то. Я утку застрелил. Да я сейчас эту реку

переплыву, когда хотите. Чего она боится. Говорит: «Зайдет в чашуру». Да я вылезу, я охотник, я утку застрелил.

И я шел домой гордо. А через плечо я нес перевешенную утку.

Когда пришел домой, было торжество. Отец сказал: «Молодец» – и поцеловал меня, а мать сказала: «Доведет этот вздор до того, что он заблудится и пропадет...»

– Ты разве не видишь, – говорила мать отцу, – что он ищет мыс Доброй Надежды. Эх, – сказала она, – где мыс этот... Ты разве не видишь, что Костя всегда будет искать этот мыс. Это же нельзя. Он не понимает жизнь как есть, он все хочет идти туда, туда. Разве это можно. Смотри, он ничему не учится.

Каждый день я ходил с приятелями на охоту. Главным-то образом все чтоб подальше, увидеть новые места, все новые и новые. И вот как-то раз далеко мы ушли краем большого леса. Товарищи мои взяли с собой плетеную корзинку, залезали в реку, подставляли ее к прибрежным кустам в воде, хлопали ногой, как бы выгоняя рыбу из кустов, поднимали корзинку, и туда попадались маленькие рыбешки. Но раз всплеснулась большая рыба, и в корзинке лежали два темных больших налима. Это было удивление. Мы взяли котелок, который был для чая, сделали костер и сварили налимов. Была уха. «Вот как жить-то надо», – подумал я. А Игнашка говорит мне:

– Посмотри-ка, вон видишь, с краю леса стоит маленькая избушка.

Действительно, когда мы подошли, была маленькая, пустая избушка с дверью, и маленькое сбоку окно – со стеклом. Мы ходили у избушки и потом толкнули дверь. Дверь отворилась. Там никого не было. Земляной пол. Избушка низенькая, так что человек взрослый достанет до потолка головой. А нам – в самый раз. Ну что это за избушка, красота. Наверху солома, маленькая печка кирпичная. Сейчас же зажгли хворост. Замечательно. Тепло. Вот мыс Доброй Надежды. Сюда я перееду жить...

И до того мы топили печку, что в избушке было невыносимо жарко. Отворили дверь, время было осеннее. Уже смеркалось. Снаружи все посинело. Были сумерки. Лес, стоящий около, был огромный. Тишина...

И вдруг сделалось страшно. Как-то одиноко, сиротливо. В избушке темно, и круглый месяц вышел сбоку над лесом. Думаю: «Моя мать уехала в Москву, не будет беспокоиться. Чуть свет – уйдем отсюда». Очень уж хорошо здесь, в избушке. Ну прямо замечательно. Как трещат кузнечики, кругом тишина, высокие травы и темный лес. Огромные сосны дремлют в синем небе, на котором уж показались звезды. Все замирает. Станный звук вдали у реки, как будто кто-то дует в бутылку: ву-у, ву-у...

Игнашка говорит:

– Это лесовик. Ничего, мы ему покажем.

А что-то жутко... Лес темнеет. Стволы сосен осветились таинственно луной. Печка погасла. Выйти за хворостом боимся. Дверь заперли. Ручку двери завязали поясами от рубашек к костылю, чтоб нельзя было дверь открыть, в случае лесовик придет. Баба-яга еще есть, это такая гадость.

Мы примолкли и смотрим в маленькое окошко. И вдруг мы видим: какие-то огромные лошади с белой грудью, огромными головами идут... и резко остановились и смотрят. Эти огромные чудовища, с рогами, как ветви деревьев, были освещены луной. Они были так громадны, что мы все замерли в страхе. И молчали... Они ровно ходили на тоненьких ногах. Зад их опущен был книзу. Их – восемь.

– Это лоси... – сказал шепотом Игнашка.

Мы не отрываясь смотрели на них. И в голову не пришло, чтоб стрельнуть в этих чудовищных зверей. Глаза у них были большие, и один лось близко подошел к окну. Белая грудь его светилась, как снег под луной. Вдруг они сразу бросились и пропали. Мы слышали треск их ног, как будто бы разгрызали орехи. Вот так штука...

Всю ночь не спали мы. И чуть забрезжил свет, утром, мы пошли домой.

IV

Жизнь в деревне мне, мальчику, была наслаждением. Казалось, что нет и не может быть лучше моей жизни. Целый день я в лесу, в каких-то песчаных оврагах, где высокие травы и огромные ели упали в речке. Там я с товарищами выкопал себе в обрыве дом, за ветвями упавших елей. Какой дом! Желтые стены из песка, потолок мы укрепили палками, постелили ветви елей, сделали, как звери, логовище, печку, провели трубу, ловили рыбу, достали сковородку, жарили эту рыбу вместе с крыжовником, который воровали в саду. Собака была уже не одна, Дружок, а четыре целых. Собаки замечательные. Сторожили нас, и собакам казалось, как и нам, что это самая лучшая жизнь, какая только может быть, за что можно восхвалять и благодарить Создателя. Что за жизнь! Купанье в реке; каких зверей видели мы, таких и нет. Пушкин сказал верно: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...» Был барсук, но мы-то не знали, что барсук: какой-то особенный большой поросенок. Собаки гнали его, и мы бежали, хотелось поймать, приучить его, чтоб вместе жил. Но не поймали – убежал. Прямо ушел в землю, пропал. Чудесна жизнь...

Прошло лето. Наступили дожди, осень. Опали деревья. Но хорошо было в нашем доме, которого никто не знал. Топили печку – тепло. Но отец пришел как-то с учителем, человеком высокого роста, худым, с маленькой бородкой. Такой сухой и строгий. Он показал на меня: завтра идти в школу. Было страшно. Школа – ведь это особенное что-то. А что страшно – неизвестно, но страшно неизвестное.

В Мытищах, на шоссе, у самой заставы, в большом каменном доме, на котором орел, написано «Волостное правление». В левой половине дома помещалась, в большой комнате, школа.

Парты черные. Ученики все в сборе. Молебен у икон. Пахнет ладаном. Священник читает молитву и кропит водой. Подходим к кресту. Садимся за парты.

Учитель нам раздает перья, ручки, карандаши, и тетради, и книгу – замечательную книгу: «Родное слово» с картинками.

Мы, уже грамотные, помещаемся на одной стороне парт, а младшие – на другой.

Первый урок начинается с чтения. Приходит другой учитель, румяный, низенького роста, веселый и добрый, и велит петь за ним.

Поем:

Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя.
Воля – сокол поднебесный,
Воля – светлая заря...
Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я.
Иль горячая молитва
Долетела до царя.

Замечательная песня. В первый раз я слышал. Тут никого не ругали.

Второй урок был – арифметика. Надо было выходить к доске и писать цифры, и сколько будет одно с другим. Ошибались.

И так началось учение каждый день. В школе ничего не было страшного, а просто замечательно. И так мне нравилась школа.

Учитель, Сергей Иванович, приходил к моему отцу пить чай, обедать. Был человек серьезный. И с отцом все говорили они хитрые вещи, и казалось мне, что отец ему говорил все не так – не так он говорил.

Помню, как-то раз захворал отец, лежал в постели. У него был жар и лихорадка. И он мне дал рубль и сказал:

– Сходи, Костя, на станцию и достань мне там лекарство, вот я написал записочку, покажи ее на станции.

Я пошел на станцию и показал записочку жандарму. Он мне сказал, выйдя на крыльцо:

– Вон видишь, мальчик, тот вон маленький домик, с краю у моста. В этом домике живет человек, у которого есть лекарство.

Я пришел в этот дом. Вошел. Грязно в доме. Какие-то стоят меры с овсом, гири, весы, кульки, мешки, сбуруя. Потом комната: стол, всюду все навалено, заставлено. Шкафчик, стулья, и за столом, у свечи сальной, сидит старик в очках, и лежит большая книга. Я подошел к нему и дал записку.

– Вот, – говорю, – за лекарством пришел.

Он прочел записку и сказал: «Подожди». Пошел к шкафчику, открыл его, достал маленькие весы и из банки клал белый порошок на весы, а в другую чашку весов положил маленькие плоские медяшки. Отвесил, завернул в бумажку и сказал:

– Двадцать копеек.

Я дал рубль. Он подошел к постели, и тут я увидел, что у него на затылке была надета маленькая ермолка. Долго он что-то делал, доставал сдачу, а я смотрел на книгу – не русская книга. Какие-то большие черные знаки подряд. Чудная книга.

Когда он мне отдал сдачи и лекарство, я спросил его, показав пальцем:

– Что здесь написано, что это за книга?

Он мне ответил:

– Мальчик, это книга мудрости. А вот где ты держишь палец, тут написано: «Бойся больше всего злодея-дурака».

«Вот так штука», – подумал я. И дорогой думал: «Что же это за дурак такой?» И когда пришел к отцу, отдал ему лекарство, которое он развел в рюмке с водой, выпил и сморщился – видно, что лекарство горькое, – я рассказал, что я достал лекарство у такого странного старика, который читает книгу, не русскую, особенную, и сказал мне, что в ней написано: «Бойся больше всего разбойника-дурака».

– Кто же, скажи мне, – спросил я отца, – этот дурак и где он живет. В Мытищах есть?

– Костя, – сказал отец. – Он, такой дурак, живет везде... А правду тебе сказал этот старик, самое страшное – дурак.

Очень я задумался над этим. «Кто ж это такой, – все думал я. – Учитель умный, Игнашка умный, Сережка тоже». Так я и не мог узнать, кто этот дурак.

Вспомнив как-то в школе во время перемены, я подошел к учителю и спросил его, рассказав про старика, кто дурак.

– Много будешь знать – скоро состаришься, – сказал мне учитель. И только.

Помню, я учил урок. А учитель был в другой комнате у нас в гостях, с моим отцом. И они все спорили. Я помню – отец говорил:

– Это хорошо – любить народ, желать ему блага. Это похвально – желать сделать ему счастье и благополучие. Но это мало. Этого может желать и дурак...

Я тут насторожился.

– И дурак желает блага народу, – продолжал отец, – благими намерениями вымощен ад. Это ничего не стоит – желать. Надо уметь сделать. Вот это есть суть жизни. А у нас и горе оттого, что все только желают, и от этого могут пропасть, как можно пропасть от дурака.

Еще страшней мне показалось. Кто же этот дурак. Разбойник, я знаю, он стоит у леса или у дороги, с дубиной и с топором. Пойдешь – он и убьет, как убили извозчика Петра. Я с товарищами – Сережкой и Игнашкой – ходил за село – смотреть. Он лежал под рогожей, зарезанный. Стра-а-ашно. Я всю ночь не спал... И стал бояться ходить вечером за село. В лес, к речке – ничего, он не поймает, я убегу. Да у меня ружье, я его сам ахну. Но дурак страшней. Какой же он.

Я не мог себе представить и опять пристал к отцу, спрашивал:

– Он в красной шапке?

– Нет, Костя, – сказал отец, – они разные. Это те, которые хотят хорошего, но сделать этого хорошо не умеют. И все выходит скверно.

Я был в недоумении.

* * *

Как странно, я несколько раз ездил с отцом в Москву. Был у бабушки, Екатерины Ивановны, был в большом ресторане, и ничто – ни Москва, ни у бабушки, ни ресторан – мне не нравилось. Не нравилось так, как эта убогая квартира в деревне, как эта темная ночь зимой, где подряд спят темные избы, где глухая, снежная, скучная дорога, где светит круглый месяц и воет собака на улице. Какая сердечная тоска, какая прелесть в этой тоске, какое замирание, какая красота в этой скромной жизни, в черном хлебе, изредка в баранке, в кружке квасу. Какая печаль в избе, когда светит лампада, как мне нравится Игнашка, Сережка, Кирюшка. Какие друзья закадычные. Какая прелесть в них, какая дружба. Как ласкова собака, как мне нравится деревня. Какие добрые тети, чужие, ненарядные. Мне уже неприятна была роскошь моих нарядных теток – Остаповых, тетки Алексеевой, где эти кринолины, этот изысканный стол, где так чинно все сидят. Какая скука. Как мне нравится воля лугов, леса, бедные хижины. Нравится топить печь, рубить хворост и косить травы – я уже умел, и меня похвалил дядя Петр, сказав мне: «Молодец, тоже косишь». И я пил, усталый, квас из деревянного ковша.

В Москве я выйду – каменные мостовые, чужие люди. А здесь я выйду – трава или сугробы снега, далеко... И люди родные, свои. Все добрые, никто меня не ругает. Все погладят по голове или посмеются... Как странно. Я никогда не поеду в город. Ни за что не буду студентом. Они все злые. Они всегда всех ругают. Тут никто не просит денег, да у меня и есть только семитка. И все время она у меня лежит. Да и у отца мало денег. А как было много. Я помню – сколько у деда было денег. Ящики были наполнены золотом. А теперь нет. До чего у Сереги хорошо. Там портной-солдат шубу шьет ему. Так вот рассказывал... Как он в лесу заблудился, как разбойники напали да как он их всех топил... Вот до чего хорошо слушать. А как он лешего в болото загнал да хвост ему оторвал. Вот он его молил отпустить. А тот держит за хвост, и говорит «нет», и говорит, выкуп какой. «Вези, – говорит, – меня в Петербург к царю». Сел ему на шею, прямо к царю и приехал. Царь и говорит: «Молодец солдат!» И дал ему рупь серебряный. Он и рупь показывал... Большой рупь такой, старинный. Вот это люди. Не дураки.

Много в деревне интересного. Куда ни пойдешь, все рассказывают то, что не бывает. Что же рассказывать, что бывает, как в Москве. В Москве рассказывают все, что бывает. А тут – нет. Тут сейчас так, а через час – неизвестно, что будет. Это ведь, конечно, деревня глухая. А как бревенчатые дома хороши. Новая изба... эх, сосной пахнет. Не ушел бы никогда. Вот только сапоги у меня худые, надо починить подметки. Говорят мне, что сапоги каши просят, разворотились. Говорил отцу, что двадцать копеек просят за починку. Отец велел отдать. «Я, – говорит, – заплачу». А вот неделю не отдают. Хожу в валенках. Отец просфоры привез – до чего вкусны с чаем. Просфору нельзя собаке давать; мне сказала Маланья, что если дать просфору собаке, то сейчас же помрешь. А я хотел. Вот хорошо, что не дал.

V

В деревне мне казалось, что я только теперь вижу зиму, так как в городе какая же зима. Здесь все покрыто огромными сугробами. Спит Лосиный Остров, побелевший в инее. Тихий, торжественный и жуткий. Тихо в лесу, ни звука, будто заколдовано. Замело дороги, и до самых окон дом наш занесло снегом, насили выйдешь с крыльца. Валенки тонут в пышном снегу. Утром в школе топится печка, придут товарищи. Так весело, отрадно, что-то свое, родное в школе, необходимое и интересное, всегда новое. И открывается другой мир. А стоящий на шкафу глобус показывает какие-то другие земли, моря. Вот бы поехать... И думаю: хорошо, должно быть, ехать на корабле по морю. И какое море, синее, голубое, сквозь землю проходит.

Я не замечал, что была разница большая в средствах отца, и совсем не знал, что пришла бедность. Я не понимал ее. Мне так нравилось жить в деревне, что лучше я и представить не мог. И совсем забыл прежнюю, богатую жизнь: игрушки, нарядных людей, и они мне казались, когда я приехал в Москву, такими странными, говорят все, что не нужно. А только там – жизнь, в этом маленьком доме... Даже среди снега и жутких ночей, где воеет ветер и метет метель, где озябший приходит дедушка Никанор и приносит муку и масло. До чего хорошо зимой топить печи, особенно приятно пахнет испеченный хлеб. Вечером придут Игнашка, Серега, мы смотрим кубари, которые гоняем по льду. А в праздник идем в церковь, взбираемся на колокольню и трезвоним. Это замечательно... У священника пьем чай и едим просфору. Зайдем в праздник в избу к соседям, а там повадные, собираются девушки и парни.

Девушки поют:

Ах, грибы-грибочки,
Темные лесочки.
Кто вас позабудет,
Кто про вас не вспомнит.

Или:

Иван да Марья в реке купались.
Где Иван купался – берег колыхался,
Где Марья купалась – трава распласталась...

Или:

Родила меня кручина,
Горе воскормило,
Беды вырастали.
И спозналась я, несчастная,
С тоской-печалью,
С ней век мне вековать.
Счастье в жизни не видать...

Были и веселые, и грустные. Но все это было так полно в деревне всегда неожиданным впечатлением, какой-то простой, настоящей, доброй жизнью. Но однажды отец уехал по делу, а мать была в Москве. И остался я один. С вечера у меня сидел Игнашка, мы сделали чай и говорили о том, кто кем бы хотел быть, и оба мы думали, что ничего нет лучше, как быть нам в деревне такими же крестьянами, как все. Поздно ушел Игнашка, и я лег спать. На ночь я

немножко трусил, без отца и матери. Запер дверь на крючок, а еще от ручки к костылю дверной рамы привязал кушаком. К ночи как-то жутко, а так как мы много слышали про разбойников, то боялись. И я побаивался разбойников... И вдруг ночью я проснулся. И слышу, как на дворе лает собачонка Дружок. И потом слышу, что в сених за дверью что-то упало с шумом. Упала приставленная лестница, которая шла на чердак дома. Я вскочил и зажег свечу и вижу в коридоре, как в дверь выглядывает рука, которая хочет снять кушак с костыля. «Где топор?» Искал я – топора нет. Бросаюсь к печке, у печки нет. Я хотел топором махнуть по руке – топора нет. Окно в кухне, рама вторая была вставлена на гвоздях, но не замазана. Я ухватил руками, выдернул гвозди, выставил раму, открыл окно и, босиком, в одной рубашке, выскочил в окно и побежал напротив через дорогу. В крайней избе жил знакомый садовник, и сын его Костя был мой приятель. Я изо всех сил стучал в окно. Вышла мать Кости и спрашивает, что случилось. Когда я вбежал в избу, то, задышавшись, озябнув, едва выговорил:

– Разбойники...

И ноги у меня были как немые. Мать Кости схватила снег и терла мне ноги. Мороз был отчаянный. Проснулся садовник, и я рассказал им. Но садовник не пошел никого будить и боялся выйти из избы. Изба садовника была в стороне от деревни, на краю.

Меня посадили на печку греться и дали чаю. Я заснул, и к утру мне принесли одежду. Пришел Игнашка и сказал:

– Воры были. На чердаке белье висело – все стащили, а у тебя – самовар.

Как-то было страшно: приходили, значит, разбойники. Я с Игнашкой вернулся в дом, по лестнице залезли на чердак, с топорами. Там лежали мешки с овсом, и один мешок показался нам длинным и неуклюжим. И Игнашка, посмотрев на мешок, сказал мне тихо:

– Смотри-ка на мешок...

И мы, как звери, подкрались, ударили топорами по мешку, думали, что там разбойники. Но оттуда выпятились отруби... Так-то мы разбойника и не решили... Но я боялся уж к вечеру быть в доме и ушел к Игнашке. Мы и сидели с топорами, оба в страхе.

Когда приехали отец и мать, то узнали, что белье, которое висело на чердаке, все украдено и что работал не один человек. Страшное впечатление руки, просунутой в дверь, осталось воспоминанием на всю жизнь. Это было страшно...

* * *

К весне я и мать поехали к бабушке моей, Екатерине Ивановне, в Вышний Волочек; здесь жила бабушка моя неподалеку от дома сына своего, Ивана Волкова, у которого был построен близ железной дороги на шоссе великолепный новый дом. У бабушки был другой дом – в тихой улице города деревянный дом, сад, заборы. А за ними были видны луга и голубая река Тверца. Было так вольно и хорошо. У бабушки было прелестно: комнаты большие, дом теплый, в окна были видны соседние деревянные домики, сады, и шла дорога, по краям которой были тропки, поросшие весенней зеленой травой.

Новая жизнь. Новый рай. Учителем ко мне был приглашен Петр Афанасьевич, широкоплечий, с рыжей шевелюрой и все лицо в веснушках. Человек еще молодой, но серьезный, строгий и часто говоривший: «Ну а priori...»

Чтобы не скучно было заниматься со мной серьезными науками, его угощали водочкой. Я уже проходил дробь, историю и грамматику. Очень все трудно учить. А я больше норовил попасть на реку, познакомился с замечательным человеком – охотником Дубининым, который жил на другой стороне города, к выезду на дорогу, которая шла на большое озеро, называемое водохранилищем. Чудесный город Вышний Волочек, стоит вроде как на болоте. Старые каменные дома около каналов наполовину ушли в землю. Мне это так нравилось, и я начал рисовать эти дома. Бабушка мне купила акварельные краски, и я все рисовал в свободное время. Нарис-

совал Дубинину картину – охоту и ездил с Дубининым на лодке по большому озеру-водохранилищу. Какая красота! Далеко, на той стороне, на самом горизонте, лежат пески, а потом леса. Я пристроил удочки, купил лески, и попадали мне рыбы, которые я приносил домой. Тут я выучился ловить налимов, язей, щук. Это восхитительно. Так как мое желание было, конечно, сделаться моряком, то, получив программу штурманского училища, усиленно занялся с Петром Афанасьевичем. А Петр Афанасьевич сказал моей матери, что «рано ему еще, не одолеть, нужна алгебра, года два надо заниматься».

Я представлял себя в морской рубашке, вообще на кораблях. Мать не препятствовала моим желаниям. Но все смотрела и поощряла, когда я рисую. И я видел, что матери нравится, что я рисую. Она даже сама носила со мной краски и бумагу в папке и сидела около, иногда говоря:

– Там светлее, ты очень густо кладешь краски...

И иногда поправляла мне рисунок. И у нее тоже не выходило так, как в природе, а все больше похоже на другое место. Очень хорошо, но такого места не было.

Летом я всегда уходил к Дубинину и ходил с ним на охоту. Купался в реке, промокал под дождем, и эта жизнь охотника сделала то, что я скоро вырос и уже на двенадцатом году был крепкий и выносливый. Иногда мы ходили с Дубининым по тридцати верст в день. В каких только местах мы не были, каких лесах, речках, реках, долинах! И, стреляя дичь, Дубинин иногда делился со мною, так как моя одностоволочка не всегда меня выручала. Ружьишко у меня было плохое. Я не мог стрелять так далеко, как Дубинин. Больше всего я жалел собаку Дружка, которого я оставил в Мытищах. Я его видел во сне и послал Игнашке в письме рубль бумажный, который выпросил у бабушки. Игнашка ответил, что рубль получил, но Дружок сдох. Трудно мне было перенести горе. Новую собаку я завести не мог, потому что бабушка была очень чистоплотна и не позволяла держать собаку в доме.

Помню, сосед по квартире, молодой человек, только что женившийся, служащий на железной дороге, все играл на гитаре и пел:

Чувиль, мой чувиль,
Чувиль-навиль, мой чувиль,
Чувиль-навиль, виль-виль-виль,
Еще чудо-перечудо,
Чудо – родина моя...

Я и сказал ему один раз, сидя с ним внизу, на лавочке у дома, что поет он ерунду. Он на меня ужасно обиделся и нажаловался бабушке. Супруга его была очень красивая и милая молодая женщина. И просила меня, чтобы я ее нарисовал. Трудно было мне ее нарисовать, как-то не выходило. Пейзаж казался мне легче, а вот лицо трудно.

– Не похоже, – говорил муж, – вы никогда не будете художником.

Я очень старался сделать похоже, и наконец она сделалась похожа.

Приехал мой брат Сергей, который уже поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества. И писал с натуры этюды. Мне казалось, что очень хорошо он пишет, но я не был согласен с цветом. В природе ярче и свежей, что я и говорил ему. Осенью он взял мои наброски и портрет этой женщины. Показав работы мои в Училище, написал письмо матери, что Костю примут без экзамена, потому что очень понравились работы профессорам Саврасову и Перову, и советует мне серьезно заняться живописью, причем прислал из Москвы замечательные вещи: краски в коробках, кисти, палитру, ящичек старый – все это было замечательно и упоительно. Какие краски, так приятно пахли, что я был взволнован и не спал всю ночь. А наутро взял холст в ящик, краски, кисти и ушел к Дубинину, сказав, что не приду три дня, – звал Дубинина по ту сторону озера, где камыши и пески, где старый челн на песке, где

ночью кричит кукуля. Что это такое кукуля – я не знал, но кричала – я слышал. И вот там, только там, можно написать картину.

Два дня я жил на этом берегу. Написал черный челн, белый песок, отражения – все до того трудно. Туда меня звала мечта, поэзия.

VI

Окружение, природа, созерцание ее было самым существенным в моем детстве. Природа захватывала всего меня, давала настроение, как если бы ее изменения были слиты с моей душой. Гроза, мрачная непогода, сумрак, бурные ночи – все впечатляло меня... Это было для моей жизни и чувств самое главное. Охотник Дубинин, должно быть, и был мне дорог потому, что он приучил меня к себе, к этим хождениям по болотам, к лесам, к лодке на озере, к ночлегам в стогах, по глухим деревням... И люди другие – мой дядя, его окружение, бабушка и учитель Петр Афанасьевич – все это было как-то не то. Их разговоры, их заботы мне казались несерьезными. Ненужными. Мне моя жизнь, жизнь мальчика, охотника, и уже мои краски и рисование казались самым важным и самым серьезным в жизни. Остальное все как-то ерунда. Не то. Дешево и неинтересно. Одно еще, что хотелось, очень хотелось, – сделаться моряком. Одного я видел в церкви. Он был одет матросом, такой со светлыми пуговицами. Вот мне хотелось чего. Потому-то я и начал учить алгебру. Очень трудная алгебра. Я учил, конечно, больше для того, чтобы отделаться, не потому, чтобы мне это нравилось. Нравилось совсем другое, нравилось читать. Я уже так много прочел...

Петр Афанасьевич тоже познакомился с охотником Дубининым, потому что я рассказал ему, что это замечательный человек и знает такие секреты в медицине, что когда у меня сделался жар, то он принес мне к бабушке какую-то траву, горчайшую, и сварил ее в печке, как чай, в медном чайнике. Горькое питье. Три стакана заставил выпить. Но через час кончился жар, и болезнь прошла. К утру я был здоров. Он знал какие-то травы и, достав мне из воды на реке какие-то длинные камышины, концы которых он ел, предложил и мне. Это были вкуснейшие концы странной спаржи, и я и потом их ел, все время, когда был на таких заросших речках, и предлагал другим. В деревне Охотино, где я жил перед войной, я показал эти камышины приятелям-охотникам. Они смеялись, но ели. А потом я заметил: на челноке ездили деревенские девки, рвали эти камыши, набирали их в кучи и ели, как гостинцы. Но как называются эти камышины, я не знаю.

У Петра Афанасьевича лицо было всегда в веснушках; он был довольно полный из себя. Карие глаза всегда смотрели как-то в сторону, и в этом его взгляде, когда я смотрел на него, видел, что он жестокий. Большой рот его был всегда крепко сжат. Я узнал, что он не верит в иконы. Он говорил мне, что Бога никакого нет, что в Техническом училище, где он окончил курс, в иконе во рту угодника Божьего просверлили дырку, вставили папиросу и зажгли.

– Так и не узнали, кто это сделал, – сказал он мне, улыбнувшись.

Мне почему-то не понравилось это. Он всегда был серьезен, никогда не смеялся. Я видел, что он завидовал достатку и ненавидел богатых людей.

Когда с ним познакомился мой дядя, Иван Иванович Волков, у которого было большое дело на железных дорогах, дело обмундирования служащих и еще какие-то поставки, то он взял его к себе на службу по моей просьбе. Но потом мне дядя сказал:

– Твой Петр Афанасьич не очень...

И не позволил мне больше заниматься с ним.

Я пришел к Петру Афанасьевичу и увидел, что он совсем по-другому жил. Квартира у него была хорошая, и на столе был серебряный самовар, новые ковры, хорошая мебель, письменный стол. И Петр Афанасьевич сделался какой-то другой.

Встретил я Петра Афанасьевича раз вечером у охотника Дубинина. Дубинин лечил его от веснушек, и особенным образом. Он должен был утром до восхода солнца выходить на реку, становиться в воду по колени и умываться, стоя против течения. Каждый день. Я через некоторое время заметил, что у Петра Афанасьевича рожа стала красная, а веснушек нет. «Вот какой Дубинин», – подумал я. Рассказал своей тетке.

– Ну, – сказала тетка, – ты мне не говори про Петра Афанасьевича. Он – дрянь.

А почему дрянь – я так и не узнал. Петр Афанасьевич видел меня у Дубинина и говорил мне:

– Ты много смеешься, ты несерьезный. Надо влиять на всех. Ты будь серьезный и не смейся, тогда ты будешь влиять.

Дубинин тоже на охоте как-то сказал мне:

– Петр Афанасьевич из себя умного делает больно – «кто я». Он ведь против царя, у него все дураки. А он сам дурак. Сквалыга. Лечил его, а он хошь бы што. Пиджачишко у него попросил, дак не дал. У него все виноваты, а он у всех бы себе все взял... Знаем мы этаких-то. Они только говорят – за народ, что народ страдает, а он сам вот у этого народа последние портки свистнет. Девчонку-то брюхатую – бросил. А от сраму уехал из Волочка.

* * *

У меня появилось новое увлечение. На больших картонах красками, которые я купил в порошках в москательной лавке в Вышнем Волочке, с гуммиарабиком и водой, писать картины мест, которые я встречал в бесконечных хождениях с Дубининым по лесам, трущобам, рекам, кругом озера. Костры, стога, сарай – писать от себя, не с натуры. Ночи, тоскливые берега... И странно, почему-то нравилось все изображать тоскливо, печально, унылое настроение. И потом вдруг мне показалось, что это не то. Трудно мне было брать эти банки с кистями, красками и нести с собой картину. Далеко в те красивые места, которые мне нравились, чтобы писать с натуры. Писать с натуры – это совсем другое. И трудно было писать быстросменяемый мотив нависших туч перед грозой. Это так быстро менялось, что я не мог схватить даже цвета проходящего момента. Не выходило – и потому я стал писать просто солнце, серый день. Но это невероятно трудно. Немыслимо постигнуть всю мелкость рисунка природы. Например, мелкого леса. Как сделать этот весь бисер ветвей с листьями, эту траву в цветах...

Мучился ужасно. Я заметил, что в картине, которую видел, пишутся не близкие предметы природы, а как-то на расстоянии, и я тоже старался делать в общем. Это выходило легче.

Когда приехал мой брат Сережа, который был уже в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества, то долго смотрел мои работы. И сказал мне:

– Молодец. Я вижу, у тебя хорошие краски, но ты не умеешь рисовать.

Странно – что писал он с натуры, мне не нравилось.

– Чтобы выучиться рисовать, – говорил мне брат, – нужно рисовать людей, рисовать можно и краской (так как я думал, что рисовать только карандашом можно).

Тогда я стал рисовать друга своего, Дубинина, и мучил его ужасно. Да еще рядом хотелось написать его собаку Дианку. Это просто невозможно, до чего трудно. Мне казалось, что это совершенно нельзя написать. Дианка вертится, Дубинин тоже ворочает голову во все стороны, и я должен был постоянно переделывать. Так я и не мог дописать с него картину и подарить ее Дубинину. Дубинин говорил:

– Картина хороша, только усов у меня эдаких нет. Чего же усы-то сделал рыжие, а у меня усы-то черные. Ты черной краской делай.

Я для удовольствия сделал ему черные усы – все испортил. Усы прямо лезут одни, хоть ты что. А Дубинину нравилось, и он сказал:

– Вот теперь правильно...

И очень был доволен, и все его приятели говорили:

– Похож. Усы вот как есть его.

«Ерунда, – думал я. – Усы просто безобразные».

Было горе у меня: собаку я нашел себе, а держать дома нельзя. Бабушка не позволяла. Собаку – ни под каким видом. А Дубинин тоже мою собаку не держал.

– Что же, – говорил, – завел кобеля, Дианку испортит, пойдут щенки не охотничьи.

– Как же не охотничьи щенки. Мой же Польшон – сеттер.

А Дубинин смеется.

– Какой, – говорит, – сеттер. Был раньше.

Держал собаку на стороне, у одной вдовы, которая любила собак. Носил ему еду, каждый раз думал, когда ел, что отнесу Польшону. Такой чудный Польшон. Когда я его купил за полтинник у охотника, то привел его на веревочке к бабушке. Покормил его молоком на кухне, но в дом его не пустили. Повел его по улице искать, куда его поместить, пошел к Дубинину и с веревочки его спустил. Он и побежал от меня в сторону, у забора, у огорода... Я бегу за ним, а он от меня. Кричу: «Польшон, Польшон». Он обернулся и побежал дальше. Я за ним. «Польшон», – кричу я и заплакал. Польшон остановился и подошел ко мне. Польшон больше не бежал от меня. И пошел со мной. Дубинин посмотрел на Польшона и не оставил его у себя. Только к вечеру по совету Дубинина я его увел к заводскому водохранилищу, и приютила его пожилая толстая добрая женщина. Она гладила его голову и поцеловала.

– Пускай, – говорит, – у меня живет, у меня всегда собаки жили, а теперь нету...

И Польшон жил у ней. Я заходил к ней, брал его с собой на охоту и в первый же день ушел очень далеко с Польшоном, к Осеченке. Зашел в лес, в места, которых не знал раньше, и не знал, где нахожусь. Места глухие, у высокого дубового леса, где была болотина.

Польшон оказался замечательной собакой, он причуял, и медленно шел, и вдруг сделал стойку. Огромные тетерева с острым треском вылетели передо мной. И я убил большого глухаря. Польшон схватил его и принес. Вот какой Польшон. Я убил с ним трех глухарей тут же и шел краем леса. Вдруг сбоку выехал верховой и закричал мне:

– Ты чего это?

Я остановился и смотрел на него.

– Билет есть у тебя? – спросил верховой.

Я говорю:

– Нету.

– Так ты чего, ты знаешь, где ты?

Я говорю:

– Где – не знаю. Я вот здесь...

– Дак здесь. Это ведь Тарлецкого имение, лес его. А ты козу убьешь, здесь дикие козы есть. В тюрьму тебя...

Я говорю:

– Послушайте, я же не знал.

– Так пойдем в контору.

Он ехал верхом, а я шел с Польшоном и с тетеревами рядом. Версты три шел я с ним. Потом, меня ругая, молодой парень-объездчик смягчился сердцем.

– Ничего, ничего, – говорил он, – а штраф отдашь. По пятерке за каждого. Нешто можно так. Вон видишь столб: «Охота воспрещается» написано.

Действительно, на столбе была дощечка, на которой написано: «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли. В доме, когда я вошел, было хорошо. Дом новый. Молодая жена сторожа, самовар. Сторож, показывая себя, вынул из шкафчика чернильницу и книжку, сел передо мной, как начальник, и говорит:

– Вот пиши тут: «За неправильную охоту строго воспрещается, местожительство имею...»

Я думаю: «Что такое?»

– Пиши сам, – говорю.

Он говорит:

– Да я-то писать плох. Можно вот как ответить за это.

А жена его, ставя на стол жареные грибы, смеясь, говорит:

– Ишь какого охотника пымал? Чего вы это. А ты тоже, писака, ишь какой. Чего рассердился, чего ты пишешь. Садись грибы есть.

Парень еще был в гневе начальства.

– «Чего пишешь», – передразнил он ее, – а как же эдакие-то еще козу убьют... а я его не пымал. Тогда што. А кто скажет, меня ведь вон выгонят.

– Да полно, – говорит жена, – кто узнает... Целый день гоняешь, а чего здесь – никто и не ходит. Вишь барчук, он нечаянно зашел. Брось... Садись чай пить.

И муж послушал ее. Сел есть грибы, а я, как преступник, сидел у столика с книгой. Посмотрев на меня сердито, сторож сказал:

– Садись, небось не ел...

Я сел за стол.

– Анна, – сказал он жене, – достань-ка...

Анна поставила на стол бутылку и рюмки и села сама. Он налил мне рюмку и жене и выпил сам. Посмотрел на меня и спросил:

– А ты кто?

– Я из Волочка, – говорю.

– Э-э, куда ты пехтурой-то дошел. Смотри-ка, вечереет, ведь это тридцать верст... Ты что ж, при деле каком?

– Нет еще, – говорю я.

– Отчего же?

– Учусь. Не знаю еще, во что выйдет ученье мое. Охота мне живописцем сделаться.

– Ишь ты... Вот что. По иконной части.

Я говорю:

– Нет, по иконной не хочу. А вот хочу охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, как вот в сторожке с тобой грибы едим.

– Дак чего ж тут?

– Как чего? Хорошо очень... – сказал я и засмеялся. – Уж очень хорошо ты на меня протокол писал...

Жена тоже расхохоталась.

– «Хорошо, хорошо», – передразнил он меня, – а чего ж. Ишь, трех убил глухарей, а напорешься на кого – в ответе я буду.

А жена говорит:

– Да кто здесь ходит?

– А все-таки, – он говорит, – пятнадцать рублей штрафа.

Я говорю:

– У меня пятнадцати рублей нету.

– Нет, дак в тюрьму посадят.

Жена смеется.

– Чего, – говорит она, – Тарлецкий-то не велит, верно, коз стрелять.

– Да разве здесь есть козы?

– Есть, – сказал сторож, – Тарлецкий сам говорил.

– А ты видал?

– Не-ет, я-то не видовал...

Жена, смеясь, говорит:

– Дак никаких коз и нет, а это в прежнем году назад охотники были, господа какие-то, нерусские. Вот были – пьяней вина. Дак верно, им козу пустили, белую, молодую. Вот показали, значит, чтоб в козу стрелять. Ну а она убежала. Видели ее, стреляли, да что, да нешто им охота. Вот они здесь пили. И вино хорошо. Бутылки хлопают, а вино бежит. Жарко было. Дак они прямо бутылки в рот суют. Ну чего, они ничего и не застрелили... Собаки с ними, только собаки за козой не бегут. Она – не дикая, знать, оттого не бегут.

VII

В августе месяце я вернулся в Москву. Сущево. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его – болезнь.

Жалко мне отца. Он лежит и читает. Кругом него книги. Он был рад меня видеть. Я смотрю – на книге написано: Достоевский. Взял себе одну книгу и читаю. Замечательно...

Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Светославским в большом каком-то сарае. Называется – мастерская. Там было хорошо. Светославский писал большую картину – Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрывающиеся снаряды, ядра – война. Шла война с турками.

– Послезавтра экзамен, – сказал мне брат. – Ты боишься?

– Нет, – говорю, – ничего.

– Твои этюды видел Алексей Кондратьевич Саврасов и очень тебя похвалил. А Левитан сказал, что ты особенный и ни на кого не похож на нас. Но боится – поступишь ли ты. Ты ведь никогда не рисовал с гипса, а это экзамен.

Я подумал: «С гипса – что это значит? Гипсовые головы... как это скучно». И сразу улетел мыслью туда, где озеро, Дубинин, костер ночью, охота. Ну, Польша-то я взял с собой. Польша и спит со мной. Но я и Польша терпеть не можем города, и, думал я, зачем устроены эти города. Что может быть мерзей каменного тротуара с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки. Там надо жить. Как глупо. Дивные реки России – какая красота. Какие дали, какие вечера, утро какое. Заря всегда сменяется, все для людей. Там надо жить. Сколько простора. А они – вот тут... где помойные ямы на дворах, все какие-то злые, озабоченные, все ищут денег да цепей – сказал я, вспомнив «Цыган» Пушкина.

А я так любил Пушкина, что плакал, читая его. Вот это был человек. Он же все сказал и сказал правду. Нет, провалюсь я на экзамене, уйду жить с Дубининым. Отца жалко... и мать...

И шел я дорогой вечером к себе, в Сущево, и слезы капали из глаз... как-то сами собой.

Печально было дома, бедно. А отец все читал. Я смотрел в окно своей маленькой комнаты, и Польша лежал около меня. Я погладил, и он сел со мной рядом, посмотрел в окно, сбоку видна площадь – Яузская часть, желтый дом, ворота, скучные и грязные окна... На скамейке пожарные в блестящих касках, римского фасона, курят махорку, сплевывают.

Когда я лег в постель, то услышал – вдали запел голос:

В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном...

Какой-то далекой грустью и таинственным чувством какого-то дома с высокой лестницей наполнилась моя душа. И песня арестанта, который пел в остроге, была полна печали.

* * *

Утром я пошел на Мясницкую в Училище живописи, ваяния и зодчества. Было много учеников. Мимо меня проходили в классы, несли свернутую бумагу, озабоченные, напуганные. Почему-то все с большими волосами. И я заметил, как они все угрюмы, и подумал: «Они, должно быть, не охотники». Лица бледные. Мне казалось, что будто бы их где-то сначала мочили, в каком-то рассоле, а потом сушили. Почему-то мне не очень нравились они. Выражение у многих, почти у всех, было похоже на Петра Афанасьевича. «Наверное, все они умеют влиять, – подумал я. – Какая гадость. Зачем влиять. В чем дело – влиять».

На другой день я прочел, что назначается экзамен для вступающих: Закон Божий. И только я прочел, как увидел, что в приемную вошел священник, в роскошной шелковой рясе, с большим наперсным крестом на золотой цепочке. У него было большое лицо, умное и сердитое, и на носу росла картошина. Грузно прошел он в канцелярию мимо меня. Думаю – вот завтра-то... И я побежал домой и засел за катехизис.

Утром, в половине одиннадцатого, солдат при классах, выходя в дверь из комнаты, где шел экзамен, крикнул: «Коровин!»

У меня екнуло сердце. Я вошел в большую комнату. За столом, покрытым синим сукном, сидел священник, рядом с ним инспектор Трутовский и еще кто-то, должно быть преподаватель. Он подал веером мне большие билеты. Когда я взял, перевернул билет, прочел: «Патриарх Никон», я подумал про себя: «Ну, это я знаю». Так как я читал историю Карамзина.

И начал отвечать, что вот Никон был очень образованный человек, он знал и западную литературу, и религиозные стремления Европы и старался ввести многие изменения в рутине веры.

Батюшка смотрел на меня пристально.

– Вероятнее всего, что Никон думал о соединении христианской религии, – продолжал я.

– Да ты постой, – сказал мне священник, посмотрев сердито, – да ты что ересь-то несешь, а? Это где ты набрался так, а? Выучи сначала программу нашу, – говорил он сердито, – а тогда приходи.

– Постойте, – сказал Трутовский, – это он, конечно, прочел.

– Ты что прочел?

Я говорю:

– Да, я много прочел, я Карамзина прочел... я Соловьева прочел...

– Спросите его другое, – сказал Трутовский.

– Ну, говори Третий Вселенский собор.

Я рассказал, робея, про Вселенский собор.

Священник задумался и что-то писал в тетрадку, и я видел, как он перечеркивал ноль и поставил мне тройку.

– Ступай, – сказал он.

Когда я проходил в дверь, солдат кричал: «Пустышкин!» – и мимо, с бледным лицом, толкнув меня, прошел в дверь другой ученик.

Экзамены прошли хорошо. По другим предметам я получил хорошие отметки, особенно по истории искусств. Рисунки с гипсовой головы выходили плохо, и, вероятно, мне помогли выставленные мной летние работы пейзажей. Я был принят в училище.

Школа была прекрасная. В столовой за стойкой – Афанасий, у него огромная чаша-котел. Там теплая колбаса – прекрасная, котлеты. Он разрезал ловко ножом пеклеванный хлеб и в него вкладывал горячую колбасу. Это называлось «до пяточка». стакан чаю с сахаром, калачи. Богатые ели на гривенник, а я на пяточок. С утра живопись с натуры – либо старика или старухи, потом научные предметы до трех с половиной, а с пяти – вечерние классы с гип-

совых голов. Класс амфитеатром, парты идут выше и выше, а на больших папках большой лист бумаги, на котором надо рисовать тушевальным карандашом – черный такой. С одной стороны у меня сбоку сидел Курчевский, а слева – архитектор Мазырин, которого зовут Анчутка. Почему Анчутка – очень на девицу похож. Если надеть на него платочек бабий, ну готово – просто девица. Анчутка рисует чисто и голову держит набок. Очень старается. А Курчевский часто выходит из класса.

– Пойдем курить, – говорит.

Я говорю:

– Я не курю.

– У тебя есть два рубля? – спрашивает.

Я говорю:

– Нету, а что?

– Достать можешь?

Говорю:

– Могу, только у матери.

– Пойдем на Соболевку... Танцевать лимпопо, там Женька есть, увидишь – умрешь.

– Это кто же такое? – спрашиваю я.

– Как кто? Девка.

Мне представились сейчас же деревенские девки. «В чем дело?» – думал я.

Вдруг идет преподаватель Павел Семенович – лысый, высокого роста, с длиннейшей черной с проседью бородой. Говорили, что этот профессор долго жил на Афоне монахом. Подошел к Курчевскому. Взял его папку, сел на его место. Посмотрел рисунок и сказал тихо, шепотом, вздохнув:

– Эхма... Все курить бегаєте...

Отодвинул папку и перешел ко мне. Я подвинулся на парте рядом. Он смотрел рисунок и посмотрел на меня.

– Толково, – сказал, – а вот не разговаривали бы – лучше бы было... Искусство не терпит суеты, разговоров, это ведь высокое дело. Эхма... о чем говорили-то?

– Да так, – я говорю, – Павел Семеныч...

– Да что так-то...

– Да вот хотели поехать... он звал лимпопо танцевать.

– Чего?.. – спросил меня Павел Семеныч.

Я говорю:

– Лимпопо...

– Не слышал я таких танцев что-то... Эхма...

Он пересел к Анчутке и вздохнул.

– Горе, горе, – сказал он, – чего это вы. Посмотрели бы на формы-то немножко. Вы кто – живописец или архитектор?

– Архитектор, – ответил Анчутка.

– То-то и видно... – сказал, вздохнув, Павел Семенович и подвинулся к следующему.

Когда я пришел домой, за чаем, где был брат Сережа, я сказал матери:

– Мама, дай мне два рубля, пожалуйста, очень нужно. Меня Курчевский звал, который рисует рядом со мной, – он такой веселый – поехать с ним на Соболевку, там такая Женька есть, что когда увидишь – умрешь прямо.

Мать посмотрела на меня с удивлением, а Сережа даже встал из-за стола и сказал:

– Да ты что?..

Я увидел такой испуг и думаю: «В чем дело?» Сережа и мать пошли к отцу. Отец позвал меня, и прекрасное лицо отца смеялось.

– Это куда ты, Костя, собираешься? – спросил он.

– Да вот, – говорю, не понимая, в чем дело, отчего все испугались. – Курчевский звал на Соболевку к девкам, там Женька... Говорит – весело, лимпопо танцевать...

Отец засмеялся и сказал:

– Поезжай. Но ты знаешь, вот что лучше – подожди, я поправлюсь... – говорил он, смеясь, – я с тобой поеду вместе. Будем танцевать лимпопо...

VIII

Преподаватели московского Училища живописи и ваяния были известные художники: В. Г. Перов, Е. С. Сорокин, П. С. Сорокин – его брат, И. М. Прянишников, В. Е. Маковский, А. К. Саврасов и В. Д. Поленов.

Картины Перова всем известны, и лучшие из них были в галерее Третьякова: «Охотники на привале», «Птицелов», «Сельский крестный ход на Пасхе» и «Суд Пугачева». У Прянишникова там же – «Конец охоты», «Пленные французы». У Маковского – «Вечеринка», «В избушке лесника», «Крах банка», «Друзья-приятели» и «Посещение бедных», у Е. С. Сорокина не помню, были ли картины в Третьяковской галерее. У Саврасова была картина «Грачи прилетели». У Поленова – «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Старая мельница», «Большая», «На Тивериадском (Геннисаретском) озере» и «Цезарская забава». Но Поленов вступил в Училище как преподаватель пейзажного класса. Он был выбран Советом преподавателей как пейзажист и потому не был преподавателем в натурном классе, где ученики писали тело с натурщиков.

За Поленовым, значит, не считалось, что он был чистый жанрист. В натурном классе были профессора В. Г. Перов, В. Е. Маковский и Е. С. Сорокин.

Сорокин был замечательный рисовальщик, блестяще окончил Академию художеств в Петербурге, получил золотую медаль за программную большую картину и был отправлен за границу, в Италию, где пробыл долгое время. Рисовал он восхитительно. Это единственный рисовальщик-классик, оставшийся в традициях Академии, Брюллова, Бруни, Егорова и других рисовальщиков. Он говорил нам:

– Вы все срисовываете, а не рисуете. А Микеланджело рисовал.

Евграф Семенович писал большие работы для храма. Они многочисленны, и все его работы сделаны от себя. Он умел рисовать человека наизусть. Только платье и костюм он списывал с манекена. Краски его были однообразны и условны. Святые его были благопристойны, хороши по форме, но как-то одинаковы. Живопись была покойной, однообразной. Нам нравились его рисунки углем, но живопись ничего нам не говорила.

Однажды Евграф Семенович, когда я был его учеником в натурном классе и писал голого натурщика, позвал меня к себе на дачу, которая была у него в Сокольниках. Была весна – он сказал мне:

– Ты пейзажист. Приезжай ко мне. Я пишу уж третье лето пейзаж. Приезжай посмотри.

В сад дачи он вынес большой холст, на котором была изображена его дача желтого цвета, а сзади сосны, Сокольники. Тень ложилась от дачи на землю двора. Был солнечный день. Меня поразило, что отражение в окнах, на стеклах, удивительно нарисовано верно, и вся дача приведена в перспективу. Это был какой-то архитектурный чертеж, гладко раскрашенный жидко-масляными красками. По цветам неверный и непохожий на натуру. Все соразмерно. Но натура – совсем другая. Сосны были нарисованы сухо, темно, не было никаких отношений и контрастов. Я смотрел и сказал просто:

– Не так. Сухо, мертво.

Он внимательно слушал и ответил мне:

– Правду говоришь. Не вижу я, что ль. Третье лето пишу. В чем дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажа не писал. И вот не выходит. Ты попробуй поправь.

Я смутился. Но согласился.

– Не испортить бы, – сказал я ему.

– Ну, ничего, не бойся, вот краски.

Я искал в ящике краски. Вижу – «терр де сьенн», охры, «кость» и синяя прусская, а где же кадмиум?

– Что? – спросил он.

– Кадмиум, краплак, индийская, кобальт.

– Этих красок у меня нет, – говорит Сорокин. – Вот синяя берлинская лазурь – я этим пишу.

– Нет, – говорю я, – это не годится. Тут краски говорят в природе. Охрой это не сделать.

Сорокин послал за красками, а мы пошли куда-то в дом завтракать.

– Вот ты какой, – говорил Евграф Семенович, улыбаясь. – Краски не те. – И его глаза так добро смотрели на меня, улыбаясь. – Вот что ты, – продолжал Сорокин, – совсем другой. Тебя все бранят. Но тело ты пишешь хорошо. А пейзажист. Удивляюсь я. Бранят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому. Вроде как нарочно. А я думаю – нет, не нарочно. А так уж в тебе это есть что-то.

– Что же есть, – говорю я. – Просто повернее хочу отношения взять – контрасты, пятна.

– Пятна, пятна, – сказал Сорокин. – Какие пятна?

– Да ведь там, в натуре, разное – а все одинаково. Вы видите бревна, стекла в окне, деревья.

А для меня это краски только. Мне все равно что – пятна.

– Ну постой. Как же это? Я вижу бревна, дача-то моя из бревен.

– Нет, – отвечаю я.

– Как нет, да что ты, – удивлялся Сорокин.

– Когда верно взять краску, тон в контрасте, то выйдут бревна.

– Ну уж это нет. Надо сначала все нарисовать, а потом раскрасить.

– Нет, ничего не выйдет, – ответил я.

– Ну вот тебя за это и бранят. Рисунок – первое в искусстве.

– Рисунка нет, – говорю я.

– Ну вот, что ты, взбесился что ли? Что ты!

– Нет его. Есть только цвет в форме.

Сорокин смотрел на меня и сказал:

– Странно. Тогда что ж, а как же ты сделаешь картину не с натуры, не видя рисунка.

– Я говорю только про натуру. Вы ведь пишете с натуры дачу.

– Да, с натуры. И вижу – у меня не выходит. Ведь это пейзаж. Я думал – просто. А вот поди: что делать – не пойму. Отчего это. Фигуру человека, быка нарисую. А вот пейзаж, дачу – пустяки, а вот поди, не выходит. Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня, смотрел, сказал мне: «Это желтая крашенная дача – мне смотреть противно, не только что писать». Вот чудак какой. Он любит весну, кусты сухие, дубы, дали, реки. Рисует то же, но неверно. Удивлялся – зачем это я дачу пишу. – И Сорокин добродушно засмеялся.

После завтрака принесли краски. Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много:

– Боюсь я, Евграф Семенович, – попорчу.

– Ничего, порти, – сказал он.

Целым кадмиумом и киноварью я разложил пятна сосен, горящих на солнце, и синие тени от дома, водил широкой кистью.

– Постой, – сказал Сорокин. – Где же это синее? Разве синие тени?

– А как же, – ответил я. – Синие.

– Ну хорошо.

Воздух был тепло-голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунок сосен.

– Верно, – сказал Сорокин.

Бревна от земли шли в желтых, оранжевых рефлексах. Цвета горели невероятной силой, почти белые. Под крышей, в крыльце, были тени красноватые с ультрамарином. И зеленые травы на земле горели так, что не знал, чем их взять. Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядели кое-где темно-коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что пугаю моего дорогого, милого Евграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовалось, что это выходит каким-то озорством.

– Молодец, – сказал, смеясь, Сорокин, закрывая глаза от смеха. – Ну, только что же это такое? Где же бревна?

– Да не надо бревен, – говорю я. – Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна, то там видно в общем.

– Верно, что-то есть, но что это?

– Вот «что-то» есть свет. Вот это и нужно. Это и есть весна.

– Как весна, да что ты? Вот что-то я не пойму.

Я стал проводить бревна, отделяя полутонем, и сделал штампы сосен.

– Вот теперь хорошо, – сказал Сорокин. – Молодец.

– Ну вот, – ответил я. – Теперь хуже. Суше. Меньше горит солнце. Весны-то меньше.

– Чудно. Вот оттого тебя и бранят. Все ты как-то вроде нарочно. Назло.

– Как назло, что вы говорите, Евграф Семенович?

– Да нет, я-то понимаю, а говорят, все говорят про тебя...

– Пускай говорят, только вот довести, все соединить трудно, – говорю я. – Трудно сделать эти весы в картине, что к чему. Краски к краске.

– Вот тут-то вся и штука. Вот что. Надо сначала нарисовать верно, а потом вот как ты. Раскрасить.

– Нет, – не соглашался я.

И долго, до поздней ночи, спорил я со своим милым профессором, Евграфом Семеновичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову.

– Боюсь я его, – сказал Евграф Семенович. – Важный он какой-то.

– Что вы, – говорю я, – это самый простой и милый человек. Художник настоящий, поэт.

– Ну и не понравится ему моя дача, как Алексею Кондратьевичу. Чудаки ведь поэты.

– Нет, – говорю. – Он не смотрит на дачу. Он живопись любит, не сюжет. Конечно, дача не очень нравится, но не в том дело. Цвет и свет важно, вот что.

– А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж – это, я так полагал, – дай попробую, думаю, – просто...

Когда уходил от Сорокина, то он простился со мной, смеясь, сказал:

– Ну и урок. Да, задал ты мне урок.

И он сунул мне в карман пальто конверт.

– Что это вы, Евграф Семенович?

– Ничего, возьми. Это я тебе... сгодится.

Я ехал домой на извозчике. Вынул и разорвал конверт. Там лежала бумажка в сто рублей. Какая была радость.

IX

Частная опера Мамонтова в Москве открылась в Газетном переулке в небольшом театре. С. И. Мамонтов обожал итальянскую оперу. Первые артисты, которые пели у него, были итальянцы: Падилла, Франческо и Антонио д'Андрате. Они скоро сделались любимцами Москвы. Но Москва враждебно встретила оперу Мамонтова. Солидное деловое купечество говорило, что держать театр председателю железной дороги как-то не идет. С. И. Мамонтов поручил И. И. Левитану исполнение декораций к опере «Жизнь за царя». А мне – «Аиду» и потом

«Снегурочку» Римского-Корсакова. Я работал совместно с В. М. Васнецовым, который сделал прекрасных четыре эскиза декораций для «Снегурочки», а я исполнил остальные по своим эскизам. Костюмы для артистов и хора Васнецова были замечательные. Снегурочку исполняла Салина, Леля – Любатович, Мизгиря – Малинин, Берендея – Лодий, Бермяту – Бедлевич. «Снегурочка» прошла впервые, и ее холодно встретили пресса и Москва. Савва Иванович говорил:

– Что ж, не понимают.

Васнецов был вместе со мной у Островского. Когда Виктор Михайлович говорил ему с восторгом о «Снегурочке», Островский как-то особенно ответил:

– Да что... Все это я так... Сказка...

Видно было, что это дивное произведение его было интимной стороной души Островского. Он как-то уклонялся от разговора.

– «Снегурочка», – говорил он, – ну разве вам нравится? Я удивляюсь. Это так я согрешил. Никому не нравится. Никто и знать не хочет.

Меня очень поразило это. Островский, видимо, так ценил это свое мудрое произведение, что не хотел верить, что его кто-то поймет. Это было так особенно и так рисовало время. А Римский-Корсаков даже не приехал посмотреть в Москву ее постановку. Мамонтов был очень удивлен этим. Говорил мне:

– Знаменательно. Эти два больших человека, Островский и Римский-Корсаков, не верят, что их поймут, не допускают мысли, так же как и Мусоргский не верил и не ценил своих произведений. Холодность и снобизм общества к дивным авторам – это плохой признак, это отсутствие понимания, плохой патриотизм. Эх, Костенька, – говорил мне Савва Иванович, – плохо, косно, не слышат, не видят... Вот «Аида» полна, а на «Снегурочку» не идут, и газеты ругают. А верно сказал офицер:

Мечты поэзии, создания искусства

Восторгом сладостным наш ум не шевелят...

– Большой и умный был человек Лермонтов, – сказал Савва Иванович. – Подумайте, как странно, я дал студентам университета много билетов на «Снегурочку» – не идут. Не странно ли это. А вот Виктор (Васнецов) говорит – надо ставить «Бориса», «Хованщину» Мусоргского. Не пойдут. Меня спрашивает Витте, зачем я театр-оперу держу, это несерьезно. «Это серьезнее железных дорог, – ответил я. – Искусство – это не одно развлечение только и увеселение». Если б вы знали, как он смотрел на меня, как будто на человека из Суконной слободы. И сказал откровенно, что в искусстве он ничего не понимает. По его мнению, это только увеселение. Не странно ли это, – говорил Мамонтов. – А ведь умный человек. Вот и подите. Как все странно. Императрица Екатерина, когда было крепостное право и она была крепостница, на здании Академии художеств в Петербурге приказала начертать: «Свободным художествам». Вельможи взволновались. «Успокойтесь, вельможи, это не отмена крепостного права, не волнуйтесь. Это свобода иная, ее поймут те, которые будут иметь вдохновение к художествам». А вдохновение имеет высшие права. Вот консерватория тоже существует, а в императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина. А министр финансов говорит, что это увеселение. Так ли это? Когда будут думать о хлебе едином, пожалуй, не будет и хлеба.

Савва Иванович увлекался театром. Русских артистов он старался оживить. В опере он был режиссером и понимал это дело. Учил артистов игре и старался объяснить им то, что они поют. Театр Мамонтова выходил какой-то школой. Но пресса, газеты были придиричивы к артистам, и театр Мамонтова вызывал недоброжелательство. У Мамонтова в репертуаре были поставлены новые иностранные авторы: «Лакме» Делиба, где пела партию Лакме знаменитая

Ван-Зандт. Также был поставлен «Лоэнгрин» Вагнера, «Отелло» Верди, где пел Таманьо, затем Мазини, Броджи, Падилла – все лучшие певцы Италии пели в опере Мамонтова.

Москва была богата и избалованна. Не только Москва, но даже Харьков имел в летнем сезоне итальянскую оперу, и труппа Мамонтова была и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе. Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью – рыбой, икрой, птицей, дичью, поросятами. Железные дороги были полны пассажиров. Промышленность шла, Россия богатела. Рынки были завалены товарами, из-за границы поступало все самое лучшее. Заграница была в моде, и много русских ездили за границу. Это считалось как бы обязательным. Летние сады развлечений были полны иностранными артистами – оперетка, загородные бега и скачки, рестораны были полны посетителями, там пели венгерские, цыганские, румынские хоры. Летом большинство жителей Москвы уезжали на дачи, которые были обильно настроены в окрестностях Москвы. Там жизнь велась в природе. Оставшихся в Москве считали мучениками. Но странно, несмотря на довольство жизнью, многие из поместий и городов стремились уехать за границу. Меня это удивляло. Неужели лето за границей было лучше, чем в России? Нет. Я нигде не видал лета лучше, чем в России, и не знаю моря и берега лучше Крыма. Но Крым считался «не то», чего-то не хватало. Не рулетки ли, думал я, или баккара, которые были запрещены в России.

Театр Мамонтова и декоративные работы для опер дали мне возможность заниматься личной живописью, хотя театр много отнимал времени. В то же время я имел возможность писать с натуры, не подчиняясь времени и никаким влияниям. Работал так, как мне хотелось, в поисках своих достижений в живописи. Я был меценатом сам себе. Сначала я выставлял на Передвижных выставках, а потом встретил в Петербурге С. П. Дягилева, который нашел меня. Я увидел – Дягилев восторженно любит живопись и театр. И тут же затеяли с ним издать журнал «Мир искусства». Я рисовал первую обложку для журнала и сделал несколько рисунков красками. Из многих заработанных денег я дал Дягилеву пять тысяч для издания журнала. Еще выпросил у Саввы Ивановича двенадцать тысяч рублей и познакомил Дягилева с Мамонтовым. Журнал Дягилева был встречен очень враждебно. Он сделал какую-то революцию в искусстве. Но журнал шел нарасхват.

В 1901 году я был приглашен профессором в Училище живописи, ваяния и зодчества, в отдельный класс, для преподавания живописи. Ко мне поступали ученики, окончившиеатурный класс. Преподавал совместно со мной и Серов. В нашем классе мы впервые поставили живую модель – обнаженную женщину, и учениками лучшими были: Сапунов, Судейкин, Туржанский, Крымов, Кузнецов, Машков, Фальк и много других, которые как-то распылялись и не были заметны. Дорого стоят государству художники, и всегда их мало. Как это странно, несмотря на огромную Россию. Что-то мешало, и мало было влюбленности в искусство и жизнь, в радость жизни и в искусство. <...>

Х

На меня произвел чрезвычайно сильное впечатление неожиданный случай. Как-то утром в мою мастерскую, на Садовой, в доме Червенко пришел В. Д. Поленов и сказал:

– Ты слышал, вчера арестован Савва и увезен в тюрьму. Я спрашивал у Васнецова, у Третьякова и у председателя суда, моего знакомого, – никто не знает причин, почему арестован Савва Иванович.

Я был поражен. Тут же пришел В. А. Серов, который тоже очень удивился.

– В чем дело? – спросил Серов. – Я вчера был у Саввы Ивановича, и он был в хорошем настроении.

У кого мы ни спрашивали и как мы ни старались узнать, нам никто не мог объяснить ареста Мамонтова. Я видел С. П. Чоколова, Кривошеина, Цубербиллера и других знакомых

общественных деятелей, адвоката Муромцева – никто ничего сказать не мог. Семья Мамонтова тоже ничего не знала. Что сделал Савва Иванович, почему такой быстрый арест – мы не могли себе объяснить. Политикой Савва Иванович не занимался, он не был похож на человека, который мог совершить растрату, потому что Савва Иванович был всегда довольно расчетлив, не был игроком и кутилой, в деньгах был скромен и даже несколько скуп. Постепенно мы узнали, что это, по слухам, арест из-за растраты при постройке Архангельской железной дороги. Я узнал, где находился Савва Иванович, поехал получить с ним свидание. Очень долго добивались этого свидания Серов и я. Увидел его в тюрьме, где нам дали пять минут на свидание. Савва Иванович, одетый в свое платье, вышел к нам в приемную комнату для свиданий. Он, как всегда, улыбался, и когда мы его спросили, в чем дело, то сказал нам:

– Я не знаю.

И так прошло долгое время. Я приехал в Петербург и увидел Сергея Юльевича Витте, который был министром. Сергей Юльевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.

– Против Саввы Ивановича, – сказал он, – всегда было много нападок. И на обвинение его «Новым временем» в растрате он, как душеприказчик чижовских капиталов, ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, представил отчет. Оставленные Чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, которое носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.

И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:

– Что делать, сердца нет...

Серов Валентин Александрович писал в это время портрет государя и, окончив, сказал царю:

– Вот Мамонтов арестован, и мы, его друзья, не знаем за что.

– Мне говорят все, что он виноват, – сказал государь. – Но жаль старика и мне. И я сейчас же дам приказ, чтоб он был переведен под домашний арест.

На другой же день Мамонтов был переведен в дом своего сына Сергея Саввича, где мы видели его и приходили к нему. Как известно, в процессе Мамонтова, где прокурор Курлов говорил обвинительную речь, присяжные заседатели в полном составе вынесли оправдательный приговор Савве Ивановичу Мамонтову. Выйдя из суда, Савва Иванович поехал на свой гончарный завод на Бутырках, где он с Врубелем делал из глины прекрасные произведения майолики. Савва Иванович заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице, пригласил меня к себе, и мы вместе с ним поехали в его две комнаты в маленьком домике на гончарный завод. Было поздно. Ворота были заперты. Мы звонили, но никто не открывал. Сбоку у забора в песке была лазейка для собак. И вот в эту лазейку мы пролезли с Саввой Ивановичем. Нас встретил Петр Кузьмич (Ваулин), который заведовал обжигом майолики. Савва Иванович сказал:

– Ну, Костенька, теперь вы богатый человек. Сейчас поставим самовар, идите за калачами.

Я – в ворота, побежал в лавочку, достал калачей, баранок, колбасы, каких-то закусок и принес Савве Ивановичу. Савва Иванович был, как всегда, весел. Потеря состояния, тюрьма и суд на него не произвели никакого впечатления. Он только сказал мне:

– Как странно. Один пункт обвинения гласил, что в отчете нашли место, очень забавное: мох для оленя – тридцать рублей. Костенька, – сказал Мамонтов, – помните этого оленя, бедного, который умер у Северного павильона на Нижегородской выставке. Его не знали чем кормить, и мы так жалели: мох-то, должно быть, не тот, он не ел. Бедный олень...

И Савва Иванович смеялся.

– Видите, его положение было хуже, чем мое. Мошенники-то мох-то, должно быть, не тот дали, не с севера.

Савва Иванович так и остался жить на своем заводе. И сожалел все время, что не может поставить опять в театре тех новых опер, партитуры которых он покупал и разыгрывал с артистами. <...>

Савва Иванович был очень рад, что, работая в качестве консультанта-художника по устройству на Всемирной парижской выставке 1900 года отдела окраин России, я получил как художник высшие награды от французского правительства. Золотые медали получили я, Серов и Малевич. В это время Врубель приехал из-за границы и жил со мной. И странное было явление в прессе по отношению к художникам. Из заграницы кто-то привез модное слово «декадентство», и оно обильно и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не было дня, чтоб каждая газета на все лады неустанно, в виде бранного отзыва и полного отрицания нас как художников, не применяла бы это слово. Но, несмотря на это, однажды ко мне приехал управляющий Конторой Московских Императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский и предложил мне вступить в театр как художнику, для чего он делает особое новое положение, и просил помочь ему в деле реформы Московских Императорских театров.

– Причем, – сказал он мне, – вам предоставляется создавать постановки столь же художественные, как те, которые были в театре Мамонтова. Но, к сожалению, должен сказать вам, что вы встретите много препятствий, главным образом в прессе от непонимания, а в театре – от артистов и рутины. Но я постараюсь всегда поддерживать ваши достоинства. Театры до такой степени пали с художественной стороны, что, например, балет не может быть дальше в таком положении. Он не посещается совсем публикой, его сборы не превышают тридцати рублей. Театр пуст, и на каждое представление балета чиновники конторы и посыльные едут в казенные учебные заведения, институты и кадетские корпуса, военные учебные заведения – пополнять публику спектаклей учениками этих заведений. Эти девицы и юноши, возвращаясь из театров, с балетов, не подготавливают уроков, что отражается ненормально на положении казенных учебных заведений. Этим отчасти объясняется и уход директора Всеволожского, и поговаривают даже о закрытии балетной школы в Москве и Петербурге. Данный недавно балет «Звезды», с бенгальским огнем, с безвкусной постановкой, сделал два раза сборы по триста с чем-то рублей. Публика на балеты не идет. Надо внести вкус и понимание.

Я предложил Теляковскому пригласить художника А. Я. Головина, человека большого вкуса.

Первый балет, для которого мы работали костюмы и декорации, был «Дон Кихот». Удивительно, что, несмотря на вопль газет, балет шел при полных сборах. Артисты не желали надевать мои костюмы, рвали их. Я ввел новые фасоны пачек вместо тех, которые были ранее, похожие на абажуры для ламп. Пресса, газеты с остервенением ругали меня: декадентство. Грингмут писал: «Декадентство и невежество на образцовой сцене...» Прекрасный артист Малого театра Ленский, считавший себя художником и знатоком, писал в «Русских ведомостях»: «Импрессионизм на сцене императорского театра», причем слово «импрессионизм» бралось тоже как ругательство, так же как и декадентство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.